



Вера Павловна Абрамова. Конец 1890-х годов. (Публикуется впервые.)

В. Калицкая

Из воспоминаний

Предисловие

Я не в силах представить читателям [Александра Степановича](#) в едином, выпуклом образе. Для этого у меня не хватает изобразительных средств; надо быть крупным художником, чтобы нарисовать противоречивый и крайне сложный облик А. С. Грина. Но странно, что и сам Александр Степанович не смог или не захотел изобразить себя целиком в каком-либо из своих произведений.

Александр Степанович обладал прекрасным свойством: он превосходно отличал добро от зла, или, вернее, он безошибочно чувствовал, что хорошо и что дурно. Кроме того, он хорошо знал самого себя и был

с собой искренен. Выявить себя целиком он не захотел, но говаривал, что его можно узнать, вчитываясь в его произведения. Это верно, хотя и не до конца. Александр Степанович только частично выявлял свои мысли, чувства и поступки в лице своих героев. И можно, мне кажется, безошибочно узнать, когда, рассказывая будто бы о своих героях, Александр Степанович говорит о себе; это чувствуется по особой, твердой и честной, интонации. Но в большинстве случаев Александр Степанович изображает только либо положительную, либо отрицательную сторону своего «я». Одинаково ошибутся как те читатели, которые примут Александра Степановича за Галиена Марка из «Возвращенного ада» или за Грэя из «Алых парусов», так и те, кто сочтет его только за Гинча, Пик-Мика или Ван-Конета. Черты характера этих героев были одинаково присущи Александру Степановичу.

Иногда Грин изображает себя в одном и том же произведении в лице двух или даже трех героев, например в «Золотой цепи» или в «Дороге никуда».

Для того чтобы более или менее беспристрастно рассказать об Александре Степановиче, я попробую привести те факты из его жизни, которые мне хорошо известны, и попутно повторить те высказывания Александра Степановича о самом себе, какие приведены в его произведениях.

Тюремная невеста. Бегство из Сибири

Мое знакомство с Александром Степановичем Гриневским началось весной 1906 года. Я работала тогда в «Красном Кресте». Это общество помогало политическим заключенным и ссыльным.

Я поступила в «Красный Крест» в 1905 году, когда забастовки, демонстрации, расстрелы рабочих и крестьян и возбуждение, охватившее по поводу этих событий всю интеллигенцию, заставили меня подумать: «Сижу в какой-то тинистой заводи, когда рядом мчится река событий. Надо примкнуть к общественной жизни. Но как это сделать?» Я пошла к писательнице А. Н. Анненской за советом. Она была редактором журнала «Всходы», где были напечатаны два моих рассказа. А. Н. Анненская и направила меня к Т. А. Богданович, стоявшей близко к руководству «Красного Креста».

В «Кресте» тогда работали многие общественные деятели: знаменитые адвокаты, защищавшие политических, писатели, издатели и их жены. Мы, молодые члены организации, — курсистки, студенты, учительницы — должны были обслуживать заключенных в тюрьмах. Закупали на деньги «Креста» провизию, белье, верхнее платье, сапоги и теплые вещи и передавали всё это или в общие камеры на имя старост, или же сидевшим в одиночках. Иногда надо было ездить к семьям высланных или безработных, так как многие из них жестоко нуждались. Нередко к нам приходили рабочие, уволенные с заводов за участие в стачке или бежавшие из ссылки. Приходилось участвовать в организации концертов, которые устраивались для сбора денег. Клиентура «Креста» была очень большая, и денег требовалось много. Общение с людьми было широкое, дружеское, и дело это мне очень нравилось.

Кроме обычных обязанностей у меня была еще одна: я должна была называть себя «невестой» тех заключенных, у которых не было ни родных, ни знакомых в Петербурге. Это давало мне право ходить на свидания, поддерживать их, исполнять поручения.

Мои отношения с Александром Степановичем начались так же, как они обычно начинались и с другими «женихами». Ко мне домой пришла незнакомая девушка и сказала, что ее сводный брат, А. С. Гриневский, сидит с января 1906 года в Выборгской одиночной тюрьме. До сих пор она, Наталия Степановна, сама ходила к нему на свидания и делала передачи, но в мае ей придется уехать, и она просит меня заменить ее. Сказала, что адрес мой она узнала в «Кресте».

Я начала хлопотать о разрешении мне свидания с Александром Степановичем, а он — писать мне. Его письма резко отличались от писем других «женихов», писавших мне из тюрем. Почти все жаловались, один даже сердито писал: «Вера, добьюсь ли того, что ты принесешь мне наконец бумагу и карандаши?» — и не хотел понять, что вина не во мне, а в тюремных властях, которые не разрешали ему иметь письменных принадлежностей. Но Гриневский писал бодро и остроумно. Письма его меня очень заинтересовали.

В мае 5 выяснилась судьба Александра Степановича. Его приговорили к ссылке в Тобольскую губернию и перевели в пересыльную тюрьму. Наталия Степановна была еще в Петербурге и потому, когда я получила разрешение на свидание, мы отправились с ней в тюрьму вместе. Это свидание с незнакомым человеком, на днях отправляющимся в далекую ссылку, было для меня обычным делом. Я от него ничего не ожидала. Думала, что этим свиданием окончатся наши отношения с Гриневским, как они кончались с другими «женихами». Однако оно кончилось совсем по-иному.

Нас впустили в большое помещение, в котором уже было много народа. Каждый заключенный мог свободно говорить со своими посетителями, так как надзор был слабый.

Надзиратель ходил по середине большого зала, а заключенные со своими гостями сидели на скамейках вдоль стен.

Александр Степанович вышел к нам в потертой пиджачной тройке и синей косоворотке. И этот костюм, и лицо его заставили меня подумать, что он — интеллигент из рабочих. Разговор не был оживленным; Александр Степанович и не старался оживить его, а больше присматривался.

«Сначала ты мне совсем не понравилась, — рассказывал он впоследствии, — но к концу свидания стала, как родная».

Дали звонок расходиться. И тут, когда я подала Александру Степановичу руку на прощание, он притянул меня к себе и крепко поцеловал. До тех пор никто из мужчин, кроме отца и дяди, меня не целовал; поцелуй Гриневского был огромной дерзостью, но вместе с тем и ошеломляющей новостью, событием. Я так сконфузилась и заволновалась, что не помню, как мы с Наталией Степановной вышли из тюрьмы и о чем говорили дорогой.

Вскоре Наталия Степановна уехала, я же, узнав о дне отправки эшелона ссыльных, пришла на вокзал с передачей. К поезду никого из провожающих не пускали, и я передала чайник, кружку и провизию через «сочувствовавшего» железнодорожника.

Недели через две я получила от Александра Степановича письмо. В нем стояла многозначительная фраза: «Я хочу, чтобы вы стали для меня всем: матерью, сестрой и женой». И больше ничего, даже обратного адреса.

В начале июня наша семья переехала на дачу в Парголово. Оттуда я часто ездила в Петербург по делам «Креста», в библиотеку и по поручениям домашних. Как-то в жаркий день, набегавшись по городу, я поднималась по всегда безлюдной нашей парадной. Завернув за последний марш, я с изумлением увидела: на площадке четвертого этажа, у самых наших дверей, сидит Гриневский! Худой, очень загорелый и веселый.

Вошли в квартиру, пили чай и что-то ели. Александр Степанович рассказал: прибыл на место ссылки, в Туринск, прожил там несколько дней. Напоил вместе с другими ссыльными исправника и клялся, что не убежит, а на другой день вместе с двумя анархистами сбежал. Шестьдесят верст ехали на лошадях, потом — по железной дороге. Паспорт у него фальшивый, нет ни денег, ни знакомств, ни заработка. Выходило, что одна из причин этого рискованного бегства — я. Слушая рассказ Александра Степановича, я думала: «Вот и определилась моя судьба: она связана с жизнью этого человека. Разве можно оставить его теперь без поддержки? Ведь из-за меня он сделался нелегальным».

Позднее выяснилось, что фальшивый паспорт, с которым Гриневский приехал в Петербург, он получил еще по дороге в ссылку, в Тюмени, заранее решив, что из ссылки он сбежит. Паспорт достал ему его товарищ, Наум Яковлевич Быховский. Быховский был приговорен к ссылке в Восточную Сибирь, но Н. А. Гредескул, член Государственной думы, хлопотал о замене ему ссылки — высылкой за границу. Потому Быховский был временно задержан в Тюмени. Живя там, он часто ходил к пересыльной тюрьме встречать эшелоны ссыльных, посмотреть, не пришел ли кто-нибудь из знакомых. В одном из этапов он увидел Гриневского и спросил, не нуждается ли тот в чем-нибудь. Александр Степанович ответил:

— Принеси денег, паспорт и водки.

Наум Яковлевич доставил ему паспорт и двадцать пять рублей.

Двадцать пять рублей — деньги небольшие. Поездка на лошадях из Туринска до станции, большой конец по железной дороге и прожитие в это время «истощали» сумму, данную Быховским. Как перебиться дальше? По работе в подпольной организации Гриневский имел знакомства в Самаре и Саратове. Он побывал в обоих городах и в Саратове застал В. А. Аверкиеву. Она дала ему деньги и «явку», но не прямо в Петербург, как хотелось Александру Степановичу, а в Москву, к С. Слетову.

К тому времени хлопоты Н. А. Гредескула помогли Быховскому освободиться из ссылки; проездом за границу он остановился в Москве, и тут его вновь повстречал Александр Степанович. Оба старшие товарища — Слетов и Быховский — отказались дать Гриневскому работу пропагандиста в Петербурге, хотя пропагандист он был талантливый; Слетов называл Александра Степановича «гасконцем», так как тот любил прибавлять к фактам небылицы, а в деле пропаганды и подпольной печати это было опасно. Но Быховский сказал Гриневскому, что партия нуждается в агитке для распространения в войсках. Гриневский ответил: — Я вам напишу!

И действительно, вскоре принес свой первый рассказ-агитку «Заслуга рядового Пантелеева». С. Слетов был доволен рассказом, заплатил Александру Степановичу и предложил написать еще. Но Гриневский исчез, уехал в Петербург.

«Заслугу рядового Пантелеева» издало Донское издательство. За эту брошюру были посажены в тюрьму и редактор, и выпускающий, и издатель, как потом рассказал мне Быховский, но никто не назвал подлинной фамилии автора.

По приезде в Петербург Александр Степанович написал вторую агитку — «Слон и Моська», которая тоже была принята каким-то издательством, каким — Александр Степанович не помнил, но рассказ света не увидел, так как при обыске в типографии полиция рассыпала набор.

Паспорт, которым снабдил его Быховский, казался Александру Степановичу ненадежным. Он снял было комнату на Зверинской

и попросил меня прийти к нему. Когда я пришла, вид у Гриневского был подавленный и испуганный. Ему казалось, что хозяйка подозрительно отнеслась к его паспорту и что за ним следят.

— Надо поскорее выметаться отсюда, помогите мне.

Пошел посмотреть, дома ли хозяйка. Ее не было. Поспешно собрали вещи: корзину, одеяло с подушками. Вместе потащили поклажу, выбежали на улицу, искали извозчика. На Зверинской извозчика не оказалось. Путь от Зверинской до Провиантской, где нашли извозчика, показался бесконечным. Отвезли вещи на вокзал, сдали на хранение, и Александр Степанович пошел искать себе другую комнату. По тому, как он благодарил меня за ничтожную помощь, которую я ему оказала, я поняла, как мало он видел к себе участия.

Подозрения Гриневского о слежке за ним оказались ложными. Он прожил в Петербурге с месяц без всяких неприятностей.

В половине июля отец дал мне денег для поездки в Крым с моей ближайшей подругой. Эта подруга, Н. М. Л—а, упоминается Александром Степановичем в некоторых рассказах, как моя сестра.

В это же время Александр Степанович уехал в Вятку, к своему отцу, Степану Евсеевичу Гриневскому. Степан Евсеевич служил в Вятке бухгалтером богоугодных заведений.

Во время пребывания Александра Степановича в Вятке там в больнице умер личный почетный гражданин Алексей Мальгинов; Степану Евсеевичу удалось достать паспорт умершего, и он передал его сыну. Это был настоящий и надежный паспорт. Алексею Мальгинову было лет тридцать пять — тридцать шесть, но никто за все четыре года, которые Гриневский прожил по этому паспорту, не заметил несоответствия между годами, обозначенными в паспорте, и возрастом его владельца. Александр Степанович выглядел в те годы много старше своих лет. Но зато позднее он мало менялся.

Когда я месяца через полтора вернулась в Петербург, Александр Степанович был уже там.

Суть наших отношений с Александром Степановичем в то время выражена им в рассказе «Сто верст по реке», написанном в 1912 году. Фабула изменена, чтобы заострить переживания героев* [Далее В. П. Калицкая подробно излагает рассказ. — Прим. ред.].

(...) В такую форму претворилось бегство Александра Степановича из ссылки, боязнь быть арестованным в Петербурге и наша встреча с ним на четвертом этаже. Рассказ оканчивается словами автора: «Они жили долго и умерли в один день». Это у Грина — формула верной до смерти любви. Казалось бы, что в рассказе «Сто верст по реке» изображена любовь цельная и счастливая, и, вероятно, немногие замечают, читая, странное окончание мечтаний Нока: "Гелли теперь дома... У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты: отец, сестра; лампа, книга, картина. Милая Гелли! Ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там; я хочу быть там! Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу!.. Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад..."

Еще только мечтая о полюбившейся ему девушке, еще только смутно надеясь найти около нее свет и тепло, Нок уже говорит себе: «приходи в город и отыщи ад». Как это объяснить? Только той глубочайшей двойственностью натуры Александра Степановича, которая нацело раскалывала его личность. Он одновременно искал семейной жизни, добивался ее и в то же время тяготился ею, когда она наступала. Одного из героев «Золотой цепи», Санди Пруэля, Грин называет «диким мустангом среди нервных павлинов». Таким «диким мустангом» был и сам Александр Степанович. Трудно понять, что было ему нужнее в те годы: уют и душевное тепло или ничем не обузданная свобода, позволяющая осуществлять каждую свою малейшую прихоть.

Через шесть лет, уже в 1912 году, Александр Степанович подарил мне хорошо иллюстрированное издание «Королевы Марго» А. Дюма. В ту зиму, как это часто бывало и до ссылки, мы периодически нуждались. В один из таких периодов пришлось снести букинисту и «Королеву Марго», но заглавный лист с автографом Александра Степановича я вырвала и сохранила. На нем было написано: «Милой моей Гелли, вдохновительнице, от сынишки и плутишки. Сашин».

Отношения Александра Степановича с моим отцом

Отца своего, человека большого и оригинального ума, я всегда любила и высоко уважала. Но я долго не понимала его, путаясь в противоречиях его характера. Будучи чиновником, он работал много: и днем, на службе, и вечером — дома. Получал чины, ордена, звезды. И при этом был, как тогда говорили, — «крайним левым», то есть республиканцем и социалистом по убеждениям. Именно он сделал и меня «левой».

Отец презирал и осуждал «фразеров». Так называл он людей, любящих говорить громкие, многозначительные фразы, которые, однако, по мнению говоривших, ни к чему их не обязывали. Слова, мол, одно, а дело — совсем другое. И, как ни странно, отец был сам до некоторой степени фразером. Эту его черту характера я поняла рано, еще в отрочестве, и по большей части «фразы» отца совершенно не влияли на меня. Но одной из них я поверила и дорого поплатилась за это. Как-то отец сказал мне:

— Брак — пошлость. Хороша только свободная любовь. Надо жить и любить, как Жорж Занд.

Я приняла это мнение отца тем более горячо, что бабушка придерживалась совсем других взглядов.

Любви она не признавала совсем, на брак смотрела, как на сделку, а всех мужчин считала негодяями. Если бабушка смотрела так, то я «должна» была думать наоборот, как отец. Тем более что в данном случае слово и дело не расходились у отца: после смерти моей матери он жил со второй своей женой вне брака, даже не поселившись с ней вместе.

...Осенью 1906 года наша семья вернулась с дачи в город. Тут я сказала отцу, что у меня есть жених и что я хочу познакомить их друг с другом. В назначенный день пришел Александр Степанович, и я ввела его к отцу в кабинет. Отец велел мне уйти и проговорил с Александром Степановичем наедине минут двадцать. Гриневский вышел от отца смущенный и вскоре совсем ушел. Отец же позвал меня к себе и строго сказал:

— Что это ты выдумала? Связаться с беспаспортным, человеком без образования и без определенных занятий? Выкинь эту дурь из головы!

Отец рассчитывал, что его авторитетный тон повлияет на меня, как много раз бывало раньше, но тут он ошибся. Я любила, а потому слова отца не оказали на меня никакого действия.

Александр Степанович стал уговаривать меня поселиться с ним вместе, но мне это казалось невозможным. Я не решалась огорчить отца, а кроме того, приходилось думать и о материальной стороне. Никакой работы Александр Степанович не имел, писать только что начинал, печатался редко, а на такие случайные заработки жить было нельзя. Я осталась жить у отца, на его средства, а деньги, которые зарабатывала уроками [*В 1904—1906 гг. В. П. Калицкая преподавала в Смоленских классах для рабочих. — Прим. ред.*], отдавала Александру Степановичу. Так прошел год.

Александр Степанович очень нуждался в ласке, в нежности, но и сам был нежен. Как только он получал гонорар, дарил мне что-нибудь: красивую книгу, цветы, коробку конфет. Это трогало и создавало ощущение нежной и верной любви.

Летом 1907 года отец снял дачу в Озерках, на первом от Петербурга озере. У нас была купальня и лодка.

На дачу Александр Степанович никогда не приходил, но мы встречались так: я переезжала на лодке на другой берег озера, там меня ждал Александр Степанович.

Он садился на весла, и мы катались. Однажды во время катания он с увлечением декламировал мне стихи А. Блока: «По вечерам, над ресторанами...»

В течение 1906—1907 годов Александр Степанович постоянно настаивал на том, чтобы я переехала жить вместе с ним. Говорил: «Я буду надоедать тебе как попугай!»

Узнал, как будет по-французски «мы должны быть вместе», и постоянно, ломаным языком, твердил мне эту фразу.

Осенью 1907 года я поступила работать в лабораторию Геологического института, которая помещалась в Волховском переулке Васильевского острова. От Фурштадтской, где мы жили с отцом, до Волховского переулка — расстояние огромное, тем более что в те годы трамваев еще не было и ездить пришлось бы на конках, с пересадкой. И мы с Александром Степановичем решили снять квартиру неподалеку от моей работы, на 11-й линии Васильевского острова. Бабушка, чрезвычайно чувствительная к общественному мнению, могла сказать родным и знакомым, что причина моего отъезда — поступление на службу.

Вскоре после переезда на Васильевский остров я написала отцу, что поселилась с тем самым Гриневским, с которым познакомила его в прошлом году. Теперь я понимаю, каким тяжелым ударом было это известие для отца, но в то время я считала себя вполне правой. Однако и мне пришлось нелегко. Отец ответил двумя письмами: мне и Александру Степановичу. Мне он написал, что я опозорила его, что я теперь отрезанный ломоть, что больше я не получу от него ни копейки. Связь моя, если о ней узнает бабушка, убьет ее, а потому никто не должен о ней знать, и я должна бывать в их доме неукоснительно, как было говорено при отъезде, два раза в неделю.

Письмо это глубоко разочаровало меня в отце. Где же Жорж Занд и свободная любовь? В чем я виновата? Разве я не поступала в согласии с убеждениями отца? Разве Александр Степанович не борец за идею, не революционер? Он два года просидел в тюрьме, в одиночке, потом вторично был в заключении пять месяцев и сослан в Сибирь. Разве была ошибка в том, что он бежал из ссылки? Да и бежал-то он из-за меня. Побег сделал его нелегальным, и только поэтому нам нельзя было венчаться. И этим-то я опозорила себя и отца? Нет, так писать мог только какой-то благонамеренный мещанин, а не социалист по убеждениям! Я не могла примириться с таким расхождением между словами и делом отца и никакого раскаяния не изъявила.

Письмо отца Александру Степановичу было еще жестче. Отец в оскорбительных выражениях обвинял его в том, что он, заведомо зная, что не может жениться, увлек меня из расчета. Почерк отца я, конечно, знала, оба письма пришли вместе, оба попали в мои руки. Прочитав

письмо, адресованное мне, я поняла, что в письме к Александру Степановичу ничего хорошего быть не может, и вскрыла его. А потом уничтожила. Так Александр Степанович никогда о нем и не узнал.

Отец довольно долго ждал ответа от Александра Степановича, потом, наконец, спросил:

— Что же «твой» ничего мне не отвечает?

— Я не дала ему твоего письма, уничтожила. Отец был так поражен неожиданным поворотом дела, что только сказал:

— Ну иди!..

С тех пор он в течение трех лет не обмолвился и словом об Александре Степановиче и никогда не спросил, как мне живется. Я стала действительно отрезанным ломтем, как он и предсказывал.

Как мы жили

Жизнь с Александром Степановичем показалась мне сначала идиллией. Утром я уходила в лабораторию, а в час возвращалась домой завтракать. Александр Степанович радостно встречал меня и даже приготавливал к моему приходу какую-нибудь еду. Потом я опять уходила в лабораторию, а по окончании моей работы мы шли куда-нибудь обедать.

Но идиллия очень скоро кончилась. Александр Степанович за год своего пребывания в Петербурге сошелся с литературной богемой. Это делало нашу жизнь трудной и постоянно выбивало из бюджета. Я была бесхозяйственна и непрактична, а Александр Степанович всякую попытку к экономии называл мещанством и сердито ей сопротивлялся.

Жизнь наша слагалась из таких периодов: получка, отдача долгов, выкуп заложенных вещей и покупка самого необходимого. Если деньги получал Александр Степанович, он приходил домой с конфетами или цветами, но очень скоро, через час-полтора, исчезал, пропадал сутки или двое и возвращался домой больной, разбитый, без гроша. А питаться и платить за квартиру надо было. Если и мои деньги кончались, то приходилось закладывать ценные вещицы, подаренные мне отцом,

и даже носильные вещи. Продали и золотую медаль — награду при окончании мною гимназии.

В периоды безденежья Александр Степанович впадал в тоску, не знал, чем себя занять, и делался раздражительным. Потом брал себя в руки и садился писать. Если тема не находилась, говорил шутя: «Надо принять слабительное». Это значило, что надо начитать вдоволь таких книг, в которых можно было бы найти занимательную фабулу, нравящегося героя, описание местности или просто какую-нибудь мелочь, вроде звучного или эксцентричного имени; такие книги давали толчок воображению, вдохновляли и помогали ему найти героя или тему. В подобные периоды Александр Степанович не перечитывал прежде известных ему книг, но доставал приключенческую литературу, фантастические романы, читал А. Дюма, Эдгара По, Стивенсона и т. п.

В те годы, когда мы жили вместе, Александр Степанович был молод, мозг его был свеж, и писалось ему легко. В два-три приема рассказ бывал окончен. Александр Степанович читал мне его, диктовал для переписки набело. Наступали тихие, хорошие вечера.

В такие вечера я мучительно задумывалась над вопросом: да что же за человек Александр Степанович? Мне, в то время молодой и совсем не знавшей людей, нелегко было в нем разобраться. Его расколотость, несовместимость двух его ликов: человека частной жизни — Гриневского и писателя Грина была в глаза, невозможно было понять ее, примириться с ней. Эта загадка была мучительна, и однажды, слушая стихи Александра Степановича, я неожиданно расплакалась.

Грин удивленно спросил:

— Что это ты? Я ответила:

— Очень трогательно у тебя сказано про снег:

Гнездя на острые углы

Пушистый свой ночлег.

Александр Степанович не стал допытываться правды. Никаких объяснений он не терпел, да их у нас никогда и не было.

Написанное произведение Грин сдавал в редакцию, получал деньги, а дальше повторялось всё прежнее.

К весне 1908 года такая жизнь утомила меня. Я была настолько наивна, что думала: «Вот поселюсь отдельно, скажу Александру Степановичу, что не вернусь... и он изменится». Я сняла комнату в том же доме, где жил и Александр Степанович. Прожила там до середины лета, а потом переехала на 9-ю линию, к чопорным и почтенным немкам.

Моя жизнь у строгих немок была, конечно, нарушением всех их понятий о порядочности. Ко мне, незамужней, ежедневно приходил молодой, плохо одетый мужчина; являлся он как раз в то время, когда я возвращалась со службы и мне подавали обед. Мы съедали этот обед дочиста. Это они еще терпели.

Но однажды осенней ночью 1908 года (в это время в Петербурге свирепствовала холера) терпению их пришел конец. В передней раздался сильнейший звонок. Испуганная хозяйка открыла дверь, постучала ко мне и крикнула:

— Это к вам!

В прихожей стоял Александр Степанович.

— У меня холера! Помоги!

Под руками у меня не было ничего, чем я могла бы помочь, да и тон, которым известила меня о приходе Грина хозяйка, показывал, что оставить его у меня нельзя. Мы пошли в аптеку, купили там все необходимое для компресса, каких-то капель, вина Сан-Рафаэль, считавшегося целебным для желудка. Дома у Александра Степановича я сделала ему компресс, уложила в постель, напоила чаем с вином. Холеры не оказалось, просто, как всегда, сыграла роль обычная мнительность Александра Степановича, но хозяйка квартиры заявила мне, что я должна немедленно выехать.

В первые шесть лет наша жизнь с Александром Степановичем держалась на его способности к подлинной большой нежности. Эта нежность не имела никакого отношения к страстности чувств, она была детская.

У меня появилось к Александру Степановичу материнское отношение. Это ему нравилось. Он любил чувствовать себя маленьким, играть в детскость. И это хорошо у него выходило, естественно, без натяжки.

Мне кажется, что подлинная, чисто человеческая нежность была одной из черт, которые перекидывали мост от Грина к Гриневскому.

Жизнь в 1909—1910 годах пошла несколько легче, чем в предыдущие. Я стала зарабатывать больше, Грин печатался чаще, я даже взяла себе напрокат пианино, что стоило десять рублей в месяц. Полегчало и душевно. Александр Степанович весь предыдущий год не давал мне покоя, настаивая на том, чтобы я опять поселилась с ним вместе. Он умел доказать, что ему необходимы забота и ласка. И мне самой хотелось того же. Поэтому осенью 1909 года я поселилась в тех же меблированных комнатах, на углу 6-й линии В. О. и набережной, где снял себе комнату и Александр Степанович. Однако уклад жизни не изменился. Грин по-прежнему пропадал из дома. Но дурные настроения стали появляться реже.

Зимой 1914/15 года, когда мы уже не жили вместе, а только, оставаясь друзьями, часто виделись, вышла в издательстве журнала «Отечество» книга Грина «Загадочные истории». К этому сборнику Александр Степанович написал посвящение, которое незачем пересказывать, так как оно напечатано. Но вокруг текста посвящения набросаны рукой Александра Степановича рисунки. Они вызывают вопросы читателей и некоторое недоумение. Два из них объяснимы просто: роза — любовь, перо — символ писательского искусства; но зачем птицы, улетающие далеко? Зачем плетка? Для кого она? Птицы, улетающие далеко, — мы с Александром Степановичем в ссылке. А вот плетка, по мнению Грина, была, оказывается, необходима для него. Как-то, много лет спустя после того как мы разошлись, Александр Степанович пришел ко мне. Сидели за чаем. И говорилось, и молчалось легко. После одной из пауз Грин мягко сказал:

— А ведь ты, Верушка, не глупый человек!

Это было сказано с таким искренним удивлением, что обидеться было невозможно, и я только спросила:

— А почему ты раньше считал меня дурой?

Александр Степанович горячо ответил:

— Как ты могла спускать мне всё, что я вытворял! Ведь меня бить было надо или ну хоть щипать! А ты всё молчишь или плачешь. А я ведь толстокожий, это до меня не доходило. Ты неправильно вела себя, Верушка!

И я согласилась с ним. Грину нужна была очень сильная рука, а у меня такой руки не было.

Первый рассказ. Первая книга. «Остров Рено»

Первый рассказ был написан Александром Степановичем осенью 1906 года и напечатан в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей» в декабре того же года 15. Он назывался «В Италию» и был подписан «А. А. М—въ». Но такая подпись не удовлетворяла Александра Степановича. Ведь Мальгинов — это была чужая, временная фамилия. Надо было придумать псевдоним. Толковали целый вечер и остановились на «А. С. Грине».

Сначала этот псевдоним нравился Александру Степановичу, но потом он испытал в нем разочарование. Оказалось, что изданы несколько переводных романов англичанки Грин, и первые годы, когда Александра Степановича еще мало знали, его путали с этой писательницей. Не помню, какие у нее были инициалы, но иные, чем у Александра Степановича. Чтобы подчеркнуть эту разницу, Александр Степанович представлялся: «А. эС. Грин», чем, вероятно, немало удивлял тех, кому представлялся.

За год литературной работы у Грина набрался целый сборник рассказов. В конце 1907 года он познакомился с издателем Котельниковым, владельцем книжной лавки «Наша жизнь». Котельников согласился выпустить книгу.

Книга под названием «Шапка-невидимка» вышла в начале 1908 года. Конечно, сборник можно было бы назвать по заглавию одного из рассказов, в него входивших, но Александр Степанович этого не захотел. Тогда я предложила:

— Ты — таинственная личность. Как автор — ты А. С. Грин, по паспорту Алексей Мальгинов, а на самом деле Александр Гриневский. Даже я не рискую называть тебя Сашей, а зову вымышленным именем.

Сама я тоже должна скрываться; вот и посвящение твоё «Другу моему Вере», а не жене. Оба мы как будто под шапкой-невидимкой. Назовем так книгу.

Александр Степанович принял эту наивную выдумку без малейшего возражения.

Издатель Котельников скупился, не хотел тратиться на художника и предложил Грину нарисовать обложку самому.

У Александра Степановича в то время лежала дома какая-то толстенная книжища в черном переплете с золотым тиснением. Он перерисовал вытисненный на книге рисунок и отнес издателю. Рамку на обложке «Шапки-невидимки» издатель сделал темно-зеленой на бумаге светло-зеленого грязноватого цвета.

Вскоре после выхода книги Александр Степанович вернулся домой расстроенный и сказал с досадой:

— Говорят, что обложка «Шапки-невидимки» похожа на обертку для мыла.

И действительно, рисунок, вытисненный на переплете тонкими золотыми линиями, расплылся и погрубел, а тон обложки был неприятен.

И всё-таки выход первой книги нас очень радовал.

В апреле 1909 года в «Новом журнале для всех» был напечатан рассказ «Остров Рено», в котором Грин как бы заявил о своем желании и праве сделаться романтиком. Рассказ этот имел успех. С ним связано приятное воспоминание. Вскоре после выхода номера журнала с рассказом Александр Степанович зашел за мной в лабораторию, и, едва мы успели выйти на улицу, как он вытащил из кармана открытку и дал мне ее прочесть. Письмо было от Анатолия Каменского. В нем писатель восторженно отзывался об «Острове Рено». Радостна была и высокая оценка, высказанная Каменским, и ощущение доброты и справедливости,

сквозившее в письме; далеко не всегда писатели так щедро оценивают друг друга.

Некоторые любимые писатели Александра Степановича.

Политическая реакция

Читал Александр Степанович очень много и без системы, что попадалось под руку. Если начинал чувствовать, что автор ему не симпатичен, тотчас бросал книгу. Однажды на мой вопрос, кого из русских писателей он любит больше других, Александр Степанович ответил не задумываясь: — Гоголя, Пушкина, Толстого и для развлечения — Чехова.

Но разговор был мимолетный, в тему не углублялись.

Когда мы жили в Пинеге, Александр Степанович с увлечением перечитывал Лескова. Как-то получив письмо от одной своей родственницы, он передал его мне, предлагая прочесть, а на мой вопрос, каково письмо, ответил с легкой усмешкой:

— Ничего себе, «неглиже с отвагой» (выражение, как известно, Лескова).

Влияние Лескова чувствуется и в одном из маленьких рассказов, входящих в цикл «Наследство Пик-Мика», озаглавленном «Интермедия». Тема его — неразменный рубль. Под таким заглавием написан один из святочных рассказов Лескова. Но подход к теме совсем иной. У Лескова, как полагается по традиции, святочный рассказ кончается хорошо и проникнут гуманной идеей. Рассказ же Грина имеет демонический характер.

В уста Гинча, героя рассказа «Приключения Гинча», Александр Степанович нередко вкладывает свои собственные мысли. Вот как говорит Гинч о своих попытках написать рассказ: «Понемногу я сочинил сюжет на тему прекрасных жизненных достижений, преимущественно любви, вывел заглавие — „Голубой меч“ — и остановился. Тысячи фраз осаждали голову. „И не оттого что... И не потому... а от того... и потому...“ — слышались мне толковые удары по голове толстовской дубинки. Чудесная, как художественная литая бронза, презрительная речь поэта обожгла меня ритмическими

созвучиями. Брызнула огненная струя Гюго; интимная, улыбающаяся, чистая и сильная, как рука рыцаря, фраза Мопассана; взъерошенная — Достоевского; величественная — Тургенева; певучая — Флобера; задыхающаяся — Успенского; мудрая и скупая — Киплинга. Хор множества голосов наполнил меня унынием и тревогой. Я тоже хотел говорить своим языком. Я обдумал несколько фраз, ломая им руки и ноги, чтобы уже во всяком случае не подражать никому».

Из этой цитаты хорошо видно, как внимательно читал Александр Степанович, как тонко разбирался в прочитанном.

Проследить, кто именно из иностранных писателей имел на Грина наибольшее влияние, я не берусь. Знаю, что любил он Брет-Гарта, Диккенса, Киплинга, Конрада, Дюма, Сю, Сервантеса, Доде, Свифта... Но ведь я помимо них Александр Степанович перечитал много томов «Вестника иностранной литературы» и отдельных, в разное время переведенных, неизвестных мне авторов. Упомяну только о тех писателях, о влиянии которых на Александра Степановича имею некоторое право судить.

В первый год нашей совместной жизни Александр Степанович подарил мне томик Эдгара По и сказал:

— Вот гениальный писатель!

Много лет спустя я спросила Александра Степановича, по-прежнему ли он любит Эдгара По. Он ответил несколько снисходительным тоном:

— Да, конечно, хороший писатель.

Стивенсон оставил след в романе Александра Степановича «Дорога никуда». Юноша Тиррей Давенант, которого с большой любовью выводит в этом романе Грин, во второй его части становится содержателем гостиницы. Почему Александр Степанович выбрал для милого его сердцу героя такую профессию? При том богатстве фантазии, каковою был одарен Грин, он легко мог придумать для Давенанта другое занятие, которое не помешало бы развитию сюжета (столкновение с Ван-Конетом). Думаю, что Давенант делается хозяином гостиницы потому, что Грину был мил сын содержателя таверны из романа Стивенсона.

Грэй — имя одного из второстепенных персонажей «Острова сокровищ» стало именем главного героя феерии «Алые паруса», имени ¹м8 «Эспаньолы» названо суденышко в «Золотой цепи».

После разгрома II Государственной думы (3 июля 1907 года) начались годы так называемой столыпинской реакции. Участились аресты, ссылки, казни, крайне левые партии снова ушли в подполье, в обществе же наступило разочарование в политической деятельности, подавленность и апатия.

Политическая реакция сказывалась во всех областях общественной жизни, в том числе и в литературе. Отразилась она и на творчестве Александра Степановича. К упадочному настроению, которое переживало тогда всё русское общество, у него присоединилась еще очень большая нервная усталость. Ведь он сначала просидел два года в севастопольской тюрьме, потом месяцев пять в Петербурге, был сослан, бежал и четыре года жил нелегально, что, конечно, тоже трепало нервы.

В первые годы своего писательства Грин был полон впечатлений, накопившихся от революционной деятельности, и писал на темы из жизни подпольщиков. Такими рассказами полна его первая книга «Шапка-невидимка». Но этот материал иссяк, а тем временем политическая реакция сказалась и на литературе.

В те годы, когда нарастало революционное движение, учителей пользовались огромным успехом писатели-реалисты, группировавшиеся в 90-е круг журналов левого направления — «Мир божий» 19, «Русское богатство» — или же сотрудничавшие в сборниках издательства «Знание», которое возглавлял М. Горький. В них писали, кроме самого Горького, Скиталец, Бунин, Чириков, Серафимович, Телешов, Юшкевич и другие. Но в годы реакции вошли в моду писатели, уводившие читателей от общественной жизни в мир эстетики, эротики, мистики и фантастики. Ни эротика, ни мистика, ни эстетика не увлекли Александра Степановича. Его пленяли фантастика и романтизм.

«Авиационная неделя»

В апреле 1910 года в газетах появилось объявление, в котором Всероссийский авиационный комитет извещал население о том, что на Коломяжском ипподроме с 25 апреля по 2 мая состоится «авиационная неделя». Еще сообщалось, что в состязании должны участвовать первоклассные авиаторы: Попов (Россия), Христианс (Бельгия), Эдмонд (Швейцария), баронесса де Ларош (Франция), Винцирс (Германия) и Моран (Франция). Внизу объявления мелким шрифтом стояло: «С.-Петербургский авиационный комитет покорнейше просит почтенную публику, ввиду огромного стечения экипажей в дни полетов, приезжать на Коломяжский ипподром заблаговременно, чтобы не опоздать к началу состязаний».

Трудно представить себе ту степень восторга, какую испытывали петербуржцы в эту первую «авиационную неделю». Летное дело у нас только что зарождалось, и все мы, за небольшими исключениями, впервые видели монопланы и бипланы, реющие в воздухе. Удивительно вспомнить, как поразила тогда высота четыреста пятьдесят метров, набранная Мораном. В 20-е годы писали, что ведь это — высота Эйфелевой башни. На подобную высоту могли подниматься только такие удалцы, как Моран и Попов, а Христианс, хотя и поднимался до четырехсот метров, однако предпочитал зарабатывать призы на длительность полета, кружась над ипподромом на высоте пятнадцать — двадцать метров.

Когда авиатор начинал набирать высоту, публика аплодировала, махала платками, кричала... Общее чувство радостного возбуждения охватывало всех; военных и штатских, дам, чиновников, рабочих, студентов и уличных мальчишек, громоздившихся на заборах и деревьях. Толпа заливала не только ипподром и все поля вокруг него, но даже Каменноостровский проспект (ныне Кировский). Трамваи были невероятно переполнены, большинство зрителей валило на ипподром пешком, но ничто не портило радостного настроения.

Ипподром был плохо приспособлен для разбега аэропланов, авиаторы ссорились между собой. Попов в течение недели поломал два «райта»,

поломалась и «антуанетт», на которой летал Винцерс. Моран попал в струю воздуха от биплана Эдмонда и упал, ранив нескольких зрителей, де Ларош совсем не летала, — но всё это принималось как неизбежное в новом, малоизученном деле и никому в вину не ставилось. Зато когда в первый раз поднялся «летун» Попов и начал описывать круги над аэродромом — оркестр заиграл гимн, а когда публика пришла в восторг от всё увеличивающегося числа кругов, торжественно зазвучали военные фанфары.

Христианса и Эдмонда, не желавших рисковать и методически зарабатывающих свои призы на небольшой высоте, публика с мягкой усмешкой называла «извозчиками». Про Морана с одобрением рассказывали, что он — ученик Блерио, который называл его «осужденным на смерть» за беззаветную смелость. Когда Попов разбил свой аппарат, то открыли подписку на сооружение для него новой машины и в первые несколько минут подписки собрали тысячу триста пять рублей.

Я была на ипподроме два раза. Полеты казались мне грандиозным и захватывающим зрелищем.

Совсем иначе воспринял их Александр Степанович. Всю «неделю авиации» он был мрачен и много пропадал из дому. Когда я с восхищением заговорила о полетах, он сердито ответил, что все эти восторги нелепы летательные, аппараты тяжеловесны и безобразны, а летчики — те же шоферы. Я возразила, что авиатор должен быть отважным, а мужества нельзя не ценить. Грин ответил, что и шофер, развивая большую скорость в людном городе, тоже немало рискует. Потом он написал рассказ «Состязания в Лиссе». В этом рассказе человек, одаренный сверхъестественной способностью летать без всяких приспособлений, вступает в состязание с авиатором, появляется перед ним в воздухе, мешает ему и приводит в состояние паники и растерянности. Авиатор гибнет.

Прослушав этот рассказ, я сказала, что полет человека без аппарата ничем не доказывается, ничем не объясняется, а потому ему не веришь.

Александр Степанович вообще не выносил замечаний, а тут особенно резко ответил:

— Я хочу, чтобы мой герой летал так, как мы все летали в детстве во сне, и он будет летать!.

Между тем Грин прекрасно понимал, что и фантастические рассказы обязаны иметь свою, пусть и условную, но неотразимую убедительность. Это видно из слов Аммона Кута («Искатель приключений»), когда он описывает виденную им на выставке картину: "...меня пленила небольшая картина Алара «Дракон, занозивший лапу». Заноза, и усилия, которые делает дракон, валяясь на спине, как собака, чтобы удалить из раненного места кусок щепки, — действуют убедительно. Невозможно, смотря на эту картину из быта драконов, сомневаться в их существовании.

Однако этой убедительности в «Состязании в Лиссе» не было. Тема не была еще выношена. Но она очень занимала Александра Степановича, и он через тринадцать лет блестяще овладел ею. Ведь те страницы в начале «Блистающего мира», где герой романа Друд приводит и ужас весь цирк, поднявшись без всяких приспособлений в воздух, действительно убеждают, что такой полет возможен. Они настолько приводят в восторг и заставляют волноваться, что становится почти ненужным объяснение, которое дает Друд директору цирка на вопрос, как это он умудряется летать без аппарата. «Об этом я знаю не больше вашего, вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они являются. Так это является у меня».

Свадьба

По паспорту на имя Мальгинова Грин прожил в Петербурге до конца августа 1910 года. Летом этого года отец дал мне денег на поездку в Кисловодск, полечить сердце. Я пробыла там недель пять. С Александром Степановичем мы деятельно переписывались. Его последнее письмо я получила дня за два до отъезда.

Вернувшись в Петербург и подъехав к дому, я оставила вещи на пролетке и пошла за дворником. Обычно приветливый и разговорчивый, дворник

взглянул на меня исподлобья, молча пошел за вещами и молча втащил наверх. Кухарка, открывшая дверь, тотчас метнулась к хозяйке. Я подошла к двери комнаты Александра Степановича, она оказалась запертой; на стук никто не ответил. Вышла хозяйка меблированных комнат и объяснила мне, что три дня назад Александр Степанович арестован. До этого он дня два не был дома. Агенты охранного отделения посадили дворников в засаду, а сами дежурили на дворе. Когда Грин вошел на лестницу, дворники схватили его. Вместе с агентами охраны поднялись наверх. Сделали обыск, но ничего незаконного не нашли. Александра Степановича увезли неведомо куда.

Рассказ этот ошеломил меня. Теперь, много лет спустя, трудно понять легкомыслие, которое владело в одинаковой мере и Александром Степановичем и мной в те четыре года, которые он прожил по чужому паспорту. У нас за все эти годы не было ни одного разговора насчет его возможного ареста и новой ссылки.

Мы никогда ни о чем не улавливались, никогда не обсуждали, что каждый из нас должен сделать в случае катастрофы. Думаю, что тут имело значение не только наше легкомыслие, но и то глубокое доверие, которое мы бессознательно питали друг к другу. Я не сомневалась, что он на мне женится, а он — что я пойду за ним в ссылку.

Хозяйка меблированных комнат сказала, что и обо мне спрашивали, что, мол, и за мной придут. На какое-то время я поддалась панике. Уничтожила все письма, среди которых было много писем отца и Александра Степановича. Потом об этом горько жалела.

Успокоившись, я стала думать о том, как разыскать Александра Степановича. В «Кресте» я имела дело только с арестованными, места заключения которых были уже известны их родственникам и знакомым. Мне не приходилось их разыскивать. Как это делается, я не знала. С кем посоветоваться?

Я поехала к Ольге Эммануиловне, внучке П. Лаврова, писательнице, печатавшейся под псевдонимом «О. Миртов».

Ольга Эммануиловна и ее муж отнеслись ко мне мягко и доброжелательно. Меня обласкали и утешили, а Ольга Эммануиловна посоветовала:

— Наймите извозчика, оденьтесь получше и поезжайте в охранное отделение. У ворот подайте свою визитную карточку и попросите, чтобы вас принял дежурный офицер. Не беда, если приедете в неприемный день, дежурный офицер там всегда есть.

На другой день я так и сделала. Дежурный у ворот взял мою карточку, исчез с ней, потом вернулся и велел идти следом. Вошли во двор, спустились в подвал, прошли через ряд совсем темных помещений, потом вышли на широкую светлую лестницу и поднялись во второй этаж. Из приемной, через дверь, которой я не заметила сначала, так хорошо она была замаскирована, вошли в комнату дежурного офицера. Офицер сказал, что Мальгинов сразу открылся, объяснил, что бежал из ссылки, и подал прошение о разрешении венчаться со мной, В. П. Абрамовой. Находится же он в Доме предварительного заключения.

На другой день я сделала Александру Степановичу передачу, и, таким образом, он понял, что я вернулась и нашла его.

Отец в то время был на курорте. Его фактическая жена, Екатерина Ивановна Керская, написала ему о нас. Вскоре он вернулся в Петербург. Первый заговорил о Грине, первый предложил брать у него денег, сколько понадобится. Деньги были чрезвычайно нужны, и я брала их у отца много.

Александра Степановича перевели из Дома предварительного заключения в арестный дом при Спасской части. Здесь режим был легкий. Позволялось доставлять заключенным обед из ресторана. Когда выяснилось, что Александр Степанович приговорен к ссылке в Архангельскую губернию, понадобилось купить ему меховое полупальто, меховую шапку, шерстяные носки и т.д. Готовились к венчанию, а у Александра Степановича, кроме плохонькой пиджачной тройки, ничего не было. В арестный дом пришел портной и снял с него мерку.

Между тем с венчанием дело не двигалось. Происходило что-то непонятное. Никто прямо не отказывал, все обещали дать разрешение на венчание, но один пересылал к другому: жандармское управление отвечало, что дело застряло в градоначальстве, а в градоначальстве говорили, что тормозит охранка, охранка же ссылалась на жандармское управление. Приемные дни во всех этих учреждениях были разные, так что каждый день приходилось где-нибудь дежурить, а очереди везде были большие.

После одного из моих свиданий с Александром Степановичем смотритель арестного дома пригласил меня к себе в служебный кабинет и сказал:

— Вашего жениха, барышня, скоро вышлют, как это вы не можете добиться венчания?

Эти слова задели меня, и я с жаром рассказала, как я делаю всё, что возможно, но ничего не выходит. Смотритель внимательно выслушал меня, подумал и сказал:

— А вы вот что сделайте. Пойдите к полковнику Х. , он служит в градоначальстве и состоит ктитором церкви градоначальства. Он любитель церковного пения, а певчие всё больше барышни из адресного стола. (Адресный стол помещался тогда в доме при Спасской части.) Полковник часто у нас бывает, меня хорошо знает: от моего имени и пойдите.

Смотритель дал мне адрес полковника, и я пошла. Полковник Х., когда я вошла к нему, официально спросил:

— Чем могу служить?

— Пожалуйста, выдайте меня замуж.

— Что-о-о? Садитесь и расскажите.

Я рассказала, что вот уже больше двух месяцев бесплодно добиваюсь разрешения на венчание. Объяснила, почему венчаться в Петербурге для меня так важно.

Полковник ответил:

— Хорошо, приходите ко мне послезавтра, не в приемные часы, а попозже. С Адмиралтейского будет заперто, так вы идите с Гороховой и скажите, что я назначил вам прийти, вас пропустят.

Когда я пришла в назначенное время, полковник сказал:

— Ну и нагорело же мне от градоначальства за вас!

— Не разрешил?!

— Венчаться-то разрешил, да я просил, чтобы вам позволили устроить в зале, соседнем с церковью, поздравление с шампанским, а градоначальник закричал: «Это еще что? Чтобы они тут еще кабак устроили!»

Я поблагодарила этого доброго человека за помощь и объяснила, что не могу позвать своих родных на свадьбу с арестантом и что поэтому зал для поздравления не нужен. Полковник сказал, чтобы я пошла к священнику церкви градоначальства и сговорила бы с ним о венчании, а после свадьбы он, полковник, даст мне письмо к своему знакомому вице-губернатору Архангельской губернии.

Священник назначил венчанье дней через восемь-десять в воскресенье, после обедни. Наконец-то я могла сказать и отцу, и Александру Степановичу, что венчанье разрешено!

Когда я опять пришла в арестный дом и поблагодарила смотрителя за совет, он ответил:

— А знаете, почему полковник принял в вас участие? Потому что несколько лет назад его дочь сбежала за границу с политическим эмигрантом.

Один несчастный отец пожалел другого.

Для девушек моего поколения свадебный ритуал был крупным жизненным событием. К нему следовало подготовиться. Я сшила себе хоть и скромное, но белое платье, а в день венчанья пригласила парикмахера причесать меня и прикрепить фату с флердоранжем. Заранее заказала две кареты: одна приехала за мной, другая — в арестный дом, за Александром Степановичем. Со мной ехала тетушка

и один из шаферов. Александра Степановича привезли под слабым конвоем; с ним в карете ехал помощник начальника арестного дома, а на козлах — городской. В церковь пришли еще шафер и две сестры Александра Степановича: Наталия Степановна и младшая сестра — Екатерина Степановна, приезжавшая тогда погостить к старшей. Однако, несмотря на малое количество званых, церковь была наполовину заполнена незнакомыми штатскими; они же стояли по обеим сторонам лестницы, ведущей на второй этаж, в церковь.

Неловко было проходить мимо этих, в упор смотревших на нас людей. Так же пристально рассматривали нас и барышни-певчие, стоявшие на клиросе. А мы, на беду, шагу ступить не умели, всё делали невпопад или по подсказке. У нас не было атласного полотенца, которое стелется под ноги венчающимся; кто-то, сердобольный, принес вместо него обычное. Требовалось иметь четырех шаферов, так как во время венчания трудно держать тяжелые венцы, а у нас было только два шафера; кто-то из агентов сменил усталых шаферов. У меня от волнения лопнула нижняя губа, и я очень конфузилась оттого, что на ней то и дело выступала капелька крови... Наконец обряд кончился. Повели расписываться и что-то объяснили насчет паспортов, торопили с получением новых. Затем Александру Степановичу следовало вести меня вниз под руку, а мы пошли порознь, да еще Александр Степанович громко сказал:

— Ну вот, ты теперь моя законная жена, и я могу, если ты убежишь, вернуть тебя по этапу.

Сели каждый в свою карету и поехали в разные стороны.

Через несколько дней после венчанья Александра Степановича перевели в пересыльную тюрьму. Был назначен день ссылки.

Я еще раз пошла к полковнику Х. Поблагодарила его за услугу. Полковник дал мне письмо к вице-губернатору Архангельской губернии и сказал, чтобы я написала ему о том, куда вышлет нас губернатор.

Перед высылкой следовало пойти на свидание к Александру Степановичу, чтобы узнать, что ему надо на дорогу. На это свидание пошел со мной, чтобы проститься с Грином, Алексей Павлович Чапыгин.

Начальник пересыльной тюрьмы, бывший чрезвычайно любезным с посетителями Дома предварительного заключения, где он был помощником начальника тюрьмы в 1906 году, теперь не отвечал спрашивавшим, а обрывал их, не говорил, а рычал. Слышно было, как он в коридоре орал на надзирателей. Мне он свидание разрешил, но Алексею Павловичу отказал.

На свидании Александр Степанович сказал мне, чтобы я пошла к С. А. Венгеру в литературный фонд и подала прошение о пособии по случаю высылки. Я сказала, что в этом нет надобности, так как отец дает денег сколько надо, но Александру Степановичу хотелось иметь свои деньги, и он настаивал, чтобы я пошла. Я так и сделала.

Приняв от меня заявление, Венгеров вышел в соседнюю комнату и стал с кем-то говорить по телефону. Спрашивал, давать ли пособие Грину, объясняя, что за пособием пришла жена. Выслушал какой-то ответ и сказал:

— Но эта утверждает, что они обвенчались и что она едет с ним в ссылку.

С. А. Венгеров вышел ко мне и сказал, что мне выдадут двадцать пять рублей.

Слышанный разговор меня обидел. Весь его тон был недоброжелательный по отношению к Александру Степановичу. А потом — что за слова: «эта утверждает». Разве могли быть у Грина другие жены? Я так верила, что Александр Степанович меня любит, что ни слова не сказала ему об этом разговоре.

Как-то Н. Я. Быховский рассказал мне о другом эпизоде, связанном с С. А. Венгеровым. На каком-то литературном вечере Венгеров подошел к Науму Яковлевичу и спросил, указывая на Грина:

— Вы, кажется, хорошо знакомы с Грином? Он подал заявление о своем желании вступить в члены литературного фонда. Но говорят, что он беглый каторжанин, что он убил свою первую жену, а потом — английского капитана, у которого украл чемодан с рукописями; теперь он их переводит и выдает за свои произведения. Мы в большом затруднении — можно ли принять его в литературный фонд?

Н. Я. Быховский уверил Венгерова, что Грин сидел в тюрьме только по политическому делу, ни одного иностранного языка не знает и пишет свои рассказы самостоятельно. После этого Александр Степанович был принят в литературный фонд.

Этот горький анекдот нашел свое место в повести Грина «Приключения Гинча». Повесть начинается словами: «Я должен оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новые случайные знакомства после того, как один из подобранных мною на улице санкюлотов сделался беллетристом, открыл мне свои благодарные объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомым, что я убил английского капитана (не помню, с какого корабля) и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги».

Разница между этим грустным рассказом и версией, которую мне передал Н. Я. Быховский, только в том, что автор «Приключений Гинча» говорит об убитом старике, а в литературном фонде говорилось об убитой несуществовавшей первой жене.

В первых числах ноября 1910 года Александр Степанович в арестантском вагоне был выслан в Архангельск. С тем же поездом, в классном вагоне, выехала и я.

Два года в ссылке

В Петербурге в день нашего отъезда моросил дождь, было облачно и грязно, а через двое суток, в Архангельске, — глубокая, морозная, солнечная зима.

Я остановилась в номерах, переночевала, а на другое утро пошла на прием к вице-губернатору А. Г. Шидловскому. Прочтя письмо полковника Х., вице-губернатор сказал, что выпустит на днях Александра Степановича из тюрьмы и отдаст мне на поруки.

— Вы за него отвечаете, смотрите, чтобы не убежал, — пошутил он.

И добавил, чтобы я пошла в канцелярию, где мне дадут подорожные не только на меня, но и на Александра Степановича. А ехать мы должны в Пинегу за двести километров от Архангельска.

Это было очень милостиво, но я поняла степень поправки только потом, от ссыльных, которые объявили мне, что нас могли заслать гораздо дальше.

Дня через два выпустили из тюрьмы Александра Степановича. Он пришел в возбужденном, суетливом состоянии. Кинулись покупать недостававшие вещи: валенки, башлыки и кое-что для хозяйства. А через день выехали из Архангельска на паре низкорослых почтовых лошадей.

На дно возка уложили чемоданы, корзины, портпледы, поверх них настлали слой сена, а на сено положили тонкое одеяло (вместо простыни) и подушки. Мы легли, а ямщик накрыл нас сначала одеялами, а потом — меховой полостью. В начале перегона хотелось смотреть и разговаривать, а потом глаза начинали слипаться от ровного потряхивания на ухабах, безлюдья и монотонного позвякивания колокольчика. Дремали. Проехав верст пятнадцать, начали зябнуть, пальцы на ногах и руках ныли, пробуждались и посматривали — не видно ли деревни? Наконец достигли почтовой станции, с радостью вылезли из-под всех покрышек и пошли в станционную избу. Там всегда жарко натоплено и можно заказать самовар. Еды на станциях не бывало; надо было или везти ее с собой, о чем мы не знали, или искать по деревне. Напившись чаю, отогревшись и дождавшись лошадей, поехали дальше.

Первую ночь мы провели во втором этаже станционной избы, в большой, хорошо обставленной комнате, принадлежавшей хозяевам. Хозяин повел нас в нее после того, как Александр Степанович предложил заплатить за ночлег.

— Рублевку дадите?

— Дам.

— Ступайте за мной, наверх. Хороших людей отчего не пустить, вот ссыльных — тех не пускаю.

Мы промолчали.

Большая дорога из Архангельска в Пинегу зимой так узка, что разъехаться на ней двум саням невозможно. Поэтому легковой извозчик был обязан сворачивать в снег, уступая дорогу тяжело груженному возу. На второй день путешествия ямщик сказал нам:

— Обоз идет, вылезайте!

Стоял тридцатиградусный мороз, и вылезать из-под одеял не хотелось, но пришлось. Пошли по снегу, проваливаясь по колено. Ямщик вел лошадей по самому краю дороги, так что возок, накренясь, чуть не опрокидывался. Проехал обоз, наши лошади вышли на дорогу, возок выровнялся, мы снова залегли и закутались. Спросили ямщика, почему он лепился так неудобно, по самому краешку? Он ответил, что снега так глубоки, что если бы лошадь провалилась даже в двух-трех шагах от дороги, она погибла бы от изнурения.

Александр Степанович больше никогда не путешествовал зимой на перекладных, он вернулся в августе 1911 года в Архангельск на пароходе. Однако зимой 1913 года он при мне рассказывал с увлечением, как в Архангельской губернии, на его глазах, погибла от непомерных усилий лошадь, попавшая в глубокий снег. Потом, наедине, я попробовала убедить его, что такого случая при нас не было, а был только рассказ ямщика, но Грин сердился и уверял, что лошадь погибла при нем.

Когда мы на второй день путешествия, к ночи, приехали в станционную избу, она оказалась переполненной. Смотритель посоветовал нам искать ночлега в деревне. Мы постучались в какой-то дом и попросились на ночь. Старик хозяин спросил Александра Степановича:

— А чем вы занимаетесь?

— Торгую помаленьку.

— Что торгуете-то?

— Железом.

— Ну, железом торговать — дело не маленькое, а лавка-то где?

— В Петербурге, на Песках.

— Ну что же, ночуйте, хозяйка самовар поставит. На третий день путешествия, к вечеру, мы приехали в Пинегу.

В 1910 году Пинега хоть и называлась уездным городом, однако больше походила на село. Главная улица, растянувшаяся километра на два вдоль большой дороги, вторая, более короткая, параллельная первой, и несколько широких переулков, соединяющих первую улицу со второй и с берегом реки, где тоже лепятся домики, — вот и весь город. Посреди города площадь и на ней — церковь; подальше еще базарная площадь, больница, почта и несколько лавок.

Скрывать свое социальное положение в Пинеге было бессмысленно. Сразу сказали хозяйке станционной избы, что мы ссыльные, и спросили, где есть свободная квартира. Она ответила, что в городе вряд ли найдется свободное помещение, но что, вероятно, мы найдем квартиру на Великом дворе, где постоянно селятся ссыльные.

На другое утро мы пошли на Великий двор. По дороге рассуждали: вероятно, Великий двор — огромное бревенчатое здание, выстроенное четырехугольником. Посреди него — двор. Что-то вроде фаланстеры, в которой живут ссыльные. Прошли город до конца и свернули вправо, в овраг, как учила нас хозяйка станционной избы. Прошли по дну оврага и, выбравшись на противоположную его сторону, оказались на высоком берегу реки Пинеги. Тут высилось несколько бревенчатых больших двухэтажных домов обычной северной постройки. Каждый из этих домов состоял из четырех хозяйств: две избы и два больших крытых двора внизу и две избы и два двора наверху. Каждое хозяйство вполне изолировано от другого, а сложены они все вместе для тепла, чтобы меньше продувало. Постройки просторные. Изба состоит из большой кухни с огромной русской печью и чистой половины, а эта в свою очередь из двух комнат: в одно окно и в два. На крытом дворе большие запасы сена и соломы для скотины, хлева, склад саней, сбруи, сельскохозяйственных орудий.

Мы сняли избу во втором этаже, в правой половине дома. Левую верхнюю избу снимали тоже ссыльные: Н. А. Кулик с женой.

Перевезли вещи на новую квартиру, купили посуду, провизии и стали устраиваться. Но тут Александр Степанович усадил меня на стул и сказал:

— Сиди, отдыхай, ты набегалась из-за меня в Петербурге, теперь я буду работать! — И, гремя, задевая за все углы, роняя то одно, то другое, начал развязывать корзины, распаковывать посуду, расставлять и раскладывать всё по местам. Было очень томительно сидеть ничего не делая и наблюдать бурную, но неумелую деятельность Александра Степановича.

Я хотела хоть растопить печь и пострепать, но услышала грозное:

— Сиди, я сам!

Затопил печь, вымыл мясо и спросил:

— Что еще кладут в суп?

— Соль, перец и лавровый лист.

— Есть!

Когда мы сели обедать, Александр Степанович вынул ухватом горшок с супом из печи и понес в комнату, но задел за косяк и опрокинул горшок. На дне крупного черепка осталось немного супу, мы его попробовали и не пожалели, что суп разлился, — есть его всё равно было бы нельзя: Александр Степанович положил «горсточку» перцу, и бульон обжигал рот.

После раннего обеда я придумала выход из своего скучного положения: пошла в город и купила мадаполаму на шторы и тюля на занавески. Шить Александр Степанович не умел и потому не мешал мне заниматься этой работой. На другой день вся суматоха кончилась, и мы зажили хорошо.

Дни стояли короткие: мы вставали около девяти часов, когда солнце выплывало из-за горизонта (окна комнат выходили на восток). В два часа дня солнце закатывалось, а в три — наступала глубокая, звездная ночь. Безоблачных дней было много, на солнце искрились глубокие, чистые снега. Иногда, в большие морозы, играло северное сияние. Я не успела привыкнуть к нему за время ссылки, оно каждый раз волновало меня, казалось таинственным и торжественным. Обычно сияние бывало неяркое: по небу бродили, переливались и бесконечно изменялись

голубые или розоватые столбы света; они были так высоки, что благодаря им ощущалась глубина небесного пространства. Впрочем, удовольствие это повторялось не часто.

Н. А. Кулик сказал нам, что в Пинеге есть Народный дом и при нем — библиотека. Несмотря на то, что наше представление о Великом дворе оказалось неверным, мы все-таки, идя в Народный дом, опять размечтались. Вот, мол, придем в большое, красивое, ярко освещенное здание, там людно, гремит музыка. А нашли в глухом переулке одноэтажный бревенчатый дом в глубине большого, занесенного снегом двора. Войдя в него, оказались в большой комнате; по рядам аккуратно расставленных стульев догадались, что это — зрительный зал. Он был едва освещен светом, падавшим из комнаты слева. Эта комната была небольшая; в ней находились две стойки, как в трактире. На короткой стоял кипящий самовар и набор стаканов; на длинной — закуска: селедки, баранки, леденцы и... граммофон. Буфетчик объяснил, что граммофоном можно пользоваться: поставить пластинку стоило копейку. Мы перепробовали множество пластинок. Буфетчик, вероятно, экономил иголки, пластинки шипели и скрежетали.

За буфетом была третья небольшая комната — библиотека. Она-то и спасала Александра Степановича от тоски. Читал Грин очень много. Подбор книг в библиотеке был случайный, так как большая часть их была пожертвована разными людьми. Были кое-кто из классиков, полные и неполные комплекты толстых журналов и много переводной литературы. Вообще малоподвижный, Александр Степанович редко выходил из дому без надобности, прогулок не признавал, но в библиотеку ходил довольно часто. Позднее, когда мы ближе познакомились со ссыльными, стали получать книги от них, меняться. Между прочим, большим успехом у ссыльных и вообще у пинежан пользовался журнал «Пробуждение», который мы в Петербурге считали вульгарным и незначительным. В Пинеге же подписчики «Пробуждения» и их знакомые с нетерпением ожидали выхода очередного номера; нравились иллюстрации в красках и приложения.

В Пинеге произошла наша первая настоящая ссора с Александром Степановичем. Как правило, Грин обособлялся от людей; мы были

знакомы с Н. А. Вознесенской, с К. Новиковым, со Студенцовым, Шкапиным и другими, но виделись с ними редко. Когда я спрашивала Александра Степановича, отчего он так избегает людей, он отвечал: «Пойдут сплетни и свары». Но однажды, уйдя после обеда, Александр Степанович вернулся домой часов в шесть. Его затащила к себе компания ссыльных, пользовавшаяся репутацией пьяниц и драчунов.

Я долго не могла заснуть. Перспектива жить в деревне с пьянствующим Александром Степановичем показалась мне нестерпимой. Я знала, что во хмелю он зол и перессорится со всеми. Значит, около нас образуется атмосфера не просто отчуждения, а вражды. Не будет денег, так как пропить то, что высылал отец, — недолго. А откуда взять денег в Пинеге? Заработков для интеллигентов там никаких нет. И куда деваться от самого Александра Степановича? В Петербурге всегда можно было уйти к кому-нибудь из подруг или знакомых. В Пинеге не от кого было ждать помощи, ни моральной, ни материальной.

Утром я твердо сказала Александру Степановичу, что, если это еще раз повторится, я тотчас же уеду к отцу и не вернусь. Я знала, что Александр Степанович боится одиночества.

И Грин больше не пил. Впоследствии он не раз вспоминал, что два года, проведенные в ссылке, были лучшими в нашей совместной жизни. Мы там оба отдохнули. Денег отец высылал достаточно. Поэтому Александр Степанович мог писать только тогда, когда хотелось и что хотелось.

В Пинеге Грин написал «Позорный столб» и послал этот рассказ Л. И. Андрусону, который был тогда секретарем «Всеобщего журнала».

Через месяц после приезда нашего в Пинегу нам предложили переехать в дом священника. Дом стоял на мысу на высоком берегу реки. Из окон виднелась снежная даль противоположного, низкого берега. Священник, сдавший нам три большие комнаты, а сам с женой и с маленьким сыном поселившийся в одной небольшой комнатушке, жаловался, что на эти три комнаты идет слишком много дров. Действительно, чтобы не зябнуть, необходимо было топить квартиру два раза в день, но дрова

березовые, колотые стоили три рубля сажень, так что мы могли вполне справиться с топкой.

Еще на Великом дворе мы наняли помощницу колоть и носить дрова, топить печи, стирать белье. При мне она не стряпала, но когда я среди зимы поехала к отцу, ей пришлось всецело обслуживать Александра Степановича.

Александр Степанович поручил мне, когда я буду в Петербурге, зайти в редакцию «Всеобщего журнала». В редакции я встретила А. И. Котылева. Он подошел ко мне, поздоровался и спросил, как живется в Пинеге. Выслушал ответ, спешно простился и ушел из редакции. Такое поведение меня очень удивило: А. И. Котылев довольно часто бывал у нас, когда мы жили на 6-й линии. Он имел репутацию человека порочного, но я не имела возможности убедиться в этом; на мой взгляд, это был человек умный и хорошо воспитанный. Казалось, что они с Александром Степановичем дружили. Приехав в Пинегу, я рассказала Александру Степановичу о странном поведении Котылева.

— Это он и выдал меня, — ответил Грин.

— Да ведь вы же были друзьями?

— Ну, не совсем... Как-то поссорились, я ему и сказал: «Я хоть с тобой и пьянствую, но этим у нас вся дружба и кончается; мы с тобой, как масло и вода, неслиянны». Вот этого он мне и не простил.

В Петербурге я купила Александру Степановичу дробовик для охоты и граммофон с набором пластинок. Ружье и все охотничьи принадлежности очень скрасили ему весну и лето. Граммофон же помогал коротать зимние вечера. Но иногда я и не рада была тому, что привезла его. Александр Степанович клал пластинку, наставлял иглу и пускал пластинку с бешеной скоростью, «для бравурности». Получалась невообразимая какофония. Зато граммофон привлекал к нам ссыльных. Сразу по приезде в Пинегу Александр Степанович вывесил на дверях объявление, что А. С. Гриневский принимает гостей по пятницам, после семи часов вечера.

В феврале стояли сильные морозы. В одну из таких морозных ночей, когда бревна дома трескались со звуком ружейного выстрела, я проснулась оттого, что в комнате стало чересчур светло. Пламя било в стекла окон. Пожар! Я пошла в соседнюю комнату и осторожно разбудила Александра Степановича. Обулась и только что начала одеваться, как Александр Степанович застучал кулаками в стену, за которой была комната хозяев, и закричал:

— Горим! Спасайтесь!

В ответ раздался такой страшный крик попадья, что я сразу потеряла душевное равновесие; не огонь, бивший в окна, а истерический женский крик потряс меня и Александра Степановича. Оба мы заторопились: захватили белье и платье, накинули пальто и шапки и выбежали на двор, на тридцатипятиградусный мороз. Кинулись в промерзшую баню — одеться. Эта растерянность помогла нам позднее, без нашего ведома, защититься от клеветы; сосед (с одной стороны к дому, в котором мы жили, примыкал дом столяра) обвинил нас, как рассказал нам священник, в том, что мы, ссыльные, подожгли дом. А священник прекратил этот разговор, сказав:

— Хороши поджигатели, выскочили на трескучий мороз, накинув на рубашки пальто, в бане одевались!

Священник побежал к церкви, ударил в набат. Начал собираться народ. В это время попадья с работницами потащили сундуки, столы, комод и прочие громоздкие вещи. Забили ими парадные двери. Никто: ни хозяева, ни мы, ни обе работницы не вспомнили, что в кухне есть другой выход, все толкались около входа в прихожую, мешая друг другу. Мы с Александром Степановичем едва смогли проникнуть в свои комнаты. Домработница побежала в кухню за своим сундуком, я схватила подушки и одеяла, а Александр Степанович набрал полные руки тарелок и блюд.

Когда вышли на двор, я увидела, что от крыши уже ничего не осталось и что горят, до самой земли, углы дома. Я не знала, что поверх потолка насыпается слой песку или земли, защищающий долгое время потолок

от нагревания, и думала, что если крыша уже сгорела, то и потолок сейчас рухнет. Сказала решительно:

— Не ходите больше в дом, нельзя из-за посуды и тряпок рисковать жизнью.

В ответ на эти слова Александр Степанович грохнул оземь всю грудку посуды, которую держал, и крикнул:

— Пропадай всё!

Об этом долго вспоминали пинежане.

Чужая, незнакомая девушка полезла в окно, когда лопнули стекла и сгорели занавеси, и вытащила граммофон и пластинки, казавшиеся ей, вероятно, самыми драгоценными вещами. Но вся уцелевшая после обыска переписка, альбомы, книги, белье и многие ценные мелочи погибли. Узкий шланг, по которому попытались подать воду из проруби на высокий берег, быстро промерз, и бесплодную возню с насосом оставили. Дом сгорел до основания поразительно быстро.

Мы с Александром Степановичем отправились к знакомым ссыльным отогреться. Еще обсуждали вопрос, куда нам деваться, как пришла зажиточная пинежанка, у которой был дом на главной улице, и предложила нам переехать к ней. Мы с радостью согласились и заняли у нее три комнаты.

В первые полгода жизни в Пинеге Грин совсем не жаловался на скуку. Он был очень утомлен всем пережитым. В тишине и обеспеченности он сначала благодушествовал: много спал, с аппетитом ел, подолгу читал, при настроении — писал, а для отдыха играл со мною в карты или раскладывал пасьянсы. Но к весне начал скучать. Стал раздражителен и мрачен. Поссорился с хозяйкой. Поэтому, когда в мае приехал в Пинегу новый акцизный чиновник, хозяйка сказала, что ей гораздо приятнее иметь жильцом правительственного чиновника, чем ссыльных. И мы снова оказались на Великом дворе, только в другой избе.

Весна в Пинеге мало чем походила на нашу петербургскую, неврастеническую и бледную. Дни настали длинные, солнечные; глубочайшие снега, накопившиеся за долгую, без оттепелей, зиму,

принялись бурно таять. Всюду зашумели ручьи, а овраги, которых в Пинеге много, превратились в озера и речки. С Великим двором и с домами на берегу Пинега сообщались на лодках. Помню, как вбежала ко мне худенькая, всегда мрачная ссыльная и весело крикнула: — Пойдемте на реку, лед идет!

На высоком берегу было уже много народа. Лед шел густо, полноводная река мчала его с грохотом, громоздя на многочисленных заворотах неправильными пирамидами.

Дороги стали непроезжими, и распутица стояла около месяца. Пинега поддерживала связь с остальным миром только по телеграфу. Ни писем, ни посылок. Зато какой радостью было прибытие первого парохода из Архангельска: ведь он привез почту!

Весна развеселила Александра Степановича. Когда просохло, он начал охотиться. Мы купили лодку. Александр Степанович охотился то на реке, то в лесу. Уходил с раннего утра и возвращался к вечеру, увешанный битой птицей. Поели мы самой разнообразной дичи: и болотных куликов, и бекасов, и куропаток, и уток всевозможных разновидностей, от крупных до самых маленьких.

Хороша была природа вокруг Пинеги. Ее окружали вековые, тянущиеся на сотни верст леса. Иногда я бродила по ним одна, иногда с Александром Степановичем или с местными жителями.

Как-то отправились мы с Александром Степановичем далеко в лес. Он с ружьем, а я с чайником, кружками и едой. Долго бродили, потом набрали воды в чайник и пошли искать приятное для привала место. Дошли до высокого, сухого бора: огромные сосны, ягель, устилающий почву, мелкие мурга. Мурги — это особенность пинежских лесов. Известняки, лежащие где-то под почвой, постепенно размываются подземной водой; в них образуются пустоты, которые медленно втягивают в себя верхний слой почвы со всем на нем находящимся. Образуется воронка — мурга. Эти воронки самых различных размеров, от небольших, в метр диаметром, до огромных, с целым куском опустившегося леса, придавали пинежским лесам живописный вид.

Рассказывали, что именно в мургах встречаются медведицы с медвежатами.

Мы набрали валежника, сложили его на дне небольшой мурги и укрепили на трех палках, скрещенных вместе, чайник с водой. Грин поджег хворост. Мы совершенно не подумали о том, что лето стоит сухое и жаркое и что всё вокруг — ягель и сама почва — насквозь просушено. Огонь из-под хвороста взвился с такой яростью, что мы сразу поняли, что нам грозит.

— Скорей сдирай мох с краев ямы! — закричал Александр Степанович. — Сейчас начнется пожар!

Огонь с необычайной быстротой бежал по сухому мху. Схватив сучок, я со всей возможной поспешностью принялась отдирать с краев мурги и отбрасывать в сторону седой мох, а Александр Степанович тем временем опрокинул на разгоравшийся костер чайник с водой и принялся срывать мох с другой стороны мурги. Мы успели содрать моховой покров вокруг всей мурги в тот момент, когда языки пламени уже подходили к самому верху; подошли, лизнули обнаженный песок и потухли. Александр Степанович тщательно затоптал тлевшие на дне сучья. Хотя всё это происшествие продолжалось три-четыре минуты, мы были потрясены силой и быстротой огня. Шли домой и обсуждали: удалось ли бы нам спастись, если бы лес запылал, и смог ли бы каждый из нас в отдельности остановить возникавший пожар, окопать всю окрестность мурги? Нет, не успел бы.

На другой день Александр Степанович никуда не ходил, а потом стал охотиться на реке.

Дней через пять-шесть после случая в лесу я увидела необычное оживление на всегда пустынной улице: бежали мальчишки, шли мужчины слопатами и заступами, проскакал, неумело наваливаясь на шею лошади, помощник исправника. Я вышла из дому, повернула за народом в один из переулков и, оказавшись в поле, увидела над лесом огромное черное облако, прорезываемое вихрями пламени. Горел лес. Всё мужское население было созвано на тушение надвигавшегося на город пожара; его остановили рытьем канав. Пожар начался километрах в двух

от опушки, ветер дул к опушке, так что лес оказался обезображенным не очень сильно; пожарище занимало длинную, но неширокую полосу.

Через несколько дней после пожара рослая краснощекая пинежанка остановила меня на улице и презрительно сказала:

— Ваш муж говорит, что это он поджег лес. Нашел чем хвастаться!

Я попробовала убедить ее, что ни в этот день, ни накануне Александр Степанович в лесу не был, но она мне не поверила. Когда же я спросила Александра Степановича, зачем он возводит на себя такие ложные и вредные обвинения, он ничего не мог ответить. Это было очередное «гасконство».

Весной 1911 года в Пинеге появилась новая, довольно большая партия ссыльных. Это были студенты, высланные за участие в демонстрации по поводу похорон Льва Толстого. Грин не сблизился ни с кем из них, а ссыльные отнеслись к ним несколько свысока: это были, так сказать, дилетанты, попавшие в ссылку как бы случайно. Эта молодежь была жизнерадостна, здорова, и некоторые из них прямо говорили, что лучшего летнего отдыха, чем в Пинеге, и желать нельзя. Студенты были уверены, что их вернут в Петербург тою же осенью, и я только много позже узнала, что студентов продержали в ссылке не менее двух лет.

В июне 1911 года к нам в Пинегу приехал младший брат Александра Степановича Борис, худенький, тихий подросток лет пятнадцати. Пока он жил у нас, мы сделали вместе с ним и местными охотниками чудесную прогулку в страну, которую пинежане называли «Карасеро». Было ли у этой прекрасной страны другое, официальное название — не знаю. Начиналось Карасеро километрах в двадцати пяти — тридцати от Пинеги. Сеть этих причудливых озер, островков, покрытых вековым лесом, протоков, заросших камышами, изобилие населяющих их птиц Александр Степанович описал в повести «Таинственный лес».

В августе я вторично поехала к отцу. Уже в Петербурге я получила от Александра Степановича письмо, в котором он извещал меня, что его переводят на Кег-остров, в село того же названия. Кегостров лежит в дельте Северной Двины, в трех километрах от Архангельска. Грин

переехал туда без меня. Эта поездка по рекам дала ему материал для повести «Сто верст по реке».

На Кегострове мы поселились у зажиточных хозяев, имевших рыбокоптильню. В этом заведении коптили мелкие селедки, продававшиеся в Петербурге под названием «архангельских копчушек». Этим же промыслом занималось на Кегострове еще несколько человек. Кроме копчения рыбы на Кегострове было еще развито выделывание канатов.

Внизу большого, солидно выстроенного дома жили хозяева, там же была и общая кухня. Наверху было большое зало, которым обычно никто не пользовался; оно служило только для приема гостей в торжественных случаях. Рядом с залом были еще три небольшие меблированные комнаты; их мы и сняли.

Сентябрь простоял хороший, солнечный, с желтой и багряной листвой, но с середины октября началась распутица. По Двине сплошной массой пошел лед. Погода была серая, хмурая, но не настолько холодная, чтобы лед мог стать. Пароходики, которыми обычно сообщался Кегостров с Архангельском, прекратили свои рейсы. Попастъ в Архангельск можно было, при крайней нужде, на карбасах — больших, тяжелых лодках, которые медленно, со скрежетом и шорохом, продирались сквозь льдины. Такое путешествие длилось долго и было неприятно из-за пронизывающей холодной сырости, от которой плохо защищали наши городские, легкие пальто. Распутица длилась около месяца. Александру Степановичу этот месяц показался очень тяжелым.

Наша жизнь на Кегострове описана Грином в рассказе «Ксения Турпанова»; остров этот назван «Тошным».

Я сама переписала «Ксению Турпанову» и сама отвезла ее в «Русское богатство». Там этот рассказ был напечатан в № 3 за 1912 год.

Второй год ссылки, на Кегострове, мы прожили с Александром Степановичем так же дружно, как и первый в Пинеге.

На Кегострове Александр Степанович написал еще рассказ «Синий каскад Теллури» и диктовал мне его для переписки набело.

Наконец Двина стала. С городом установился санный путь, стали ездить за покупками, в библиотеку, в кино.

У нашего хозяина было две лошади: смирная старая и молодой горячий жеребец. Этих лошадей можно было нанимать.

Когда я ехала в город, чтобы закупить на неделю провизии, то брала смирную старую лошадь. Она везла меня ленивой рысью, так что все меня обгоняли, но зато можно было не бояться. Но когда в город собирался Александр Степанович, он брал застоявшегося жеребца, и поездка превращалась в смену сильных ощущений. Как я ни просила попридержать лошадь до выезда на дорогу, Грин не умел этого сделать. Жеребец вылетал со двора так, будто за ним гнались волки, на всем ходу, под прямым углом сворачивал на дорогу; сани ложились на один бок — того гляди окажешься на снегу, — но благополучно выпрямлялись и начинали скакать по ухабам дороги. Потом стремительно неслись с довольно высокого берега на лед. Дорога по Двине была узкая, а проезжих довольно много. Александру Степановичу хотелось всех обгонять, и он, то и дело крича: «Берегись!» — мчался, сворачивая в снег и накрывая сани.

На Кегострове ссыльных было немного. Выделялся своей молчаливой корректностью польский ксендз, сосланный за проповедь и обучение на польском языке и ненавидевший самодержавие. Это был человек убежденный и, видимо, сильный.

Хорошее воспоминание осталось и о семье И. И. Кареля. Иван Иванович Карель бы сослан в Архангельскую губернию, как председатель студенческого коалиционного совета университета и как председатель общегородского коалиционного студенческого совета. С ним была жена, трое детей и младший брат.

В Архангельске Грин познакомился со ссыльным инженером, получившим образование за границей, Р. Л. Самойловичем. Они быстро подружились и перешли на «ты». Самойлович жил в Архангельске с женой и двумя детьми.

Однажды Самойлович пришел к нам, на Кегостров, с двумя молодыми людьми и сказал:

— Это — норвежцы, шкипера. Они ни слова не понимают по-русски, с ними можно объясняться по-немецки.

Александр Степанович был очень доволен этим посещением; он всегда с огромным интересом и уважением относился к морякам.

Трудно было занимать гостей, так как запас немецких слов был у меня невелик. Александр Степанович и вовсе не знал немецкого. Только Самойлович говорил свободно. Несмотря на это маленькое затруднение, вечер прошел непринужденно и довольно весело; нашлось какое-то угощение, послали за водкой, — шкипера пили, шутили, держали себя приветливо и весело. Когда же пришла пора прощаться, гости поблагодарили нас за радушный прием на чистом русском языке. Это были не моряки, а инженеры, окончившие высшую горную школу в Гейдельберге, вместе с Р. Л. Самойловичем. Александр Степанович был неприятно разочарован.

Весной 1912 года нас перевели в Архангельск.

Вскоре я одна вернулась в Петербург, чтобы всё приготовить к приезду Александра Степановича. Наняла квартиру на углу Второй роты и Тарасова переулка. В квартире было две комнаты, коридор и кухня. Купила дешевенькую мебель и пополнила хозяйственный инвентарь. Думала, что устраиваю прочное гнездо, но жизнь вскоре заставила меня понять мою ошибку.

Вскоре пути наши разошлись. Встречи стали короткими и редкими.

Годы 1917—1924

Весной 1917 года, встретившись как-то с Александром Степановичем на Невском, я сказала ему, что у меня новый адрес.

— Уж не вышла ли ты замуж?

— Да, вышла...

Грин круто повернулся и почти бегом пустился наискосок, через Невский. Я поняла, что догонять его не следует.

Я очень опасалась того, что Александр Степанович захочет познакомиться с Казимиром Петровичем. Мой муж — геолог, ученый —

был корректным и выдержанным человеком. С его стороны невозможно было опасаться какой-нибудь выходки по отношению к Александру Степановичу, но как поведет себя сам Александр Степанович?

Однажды, когда я вернулась со службы, Казимир Петрович сказал:

— Приходил некий Русанов, оставил тебе эту корзинку и сказал, что вы были вместе в ссылке.

Опасения мои сбылись! Не могло быть сомнения в том, что пирожные принес Александр Степанович. Никакого Русанова я не знавала. Это была рекогносцировка: посмотреть — каков муж? Значит, придет опять. Так и случилось. Прихожу домой, отпираю дверь своим ключом и слышу голоса в столовой. За обеденным столом сидит Александр Степанович, а Казимир Петрович поит его чаем.

Визит прошел благополучно. Когда Грин ушел, Казимир Петрович, человек несколько язвительный, сказал:

— Ты сидела между нами, как кролик между двумя удавами.

Помню, осенью 1918 года Александр Степанович сказал мне:

— Я женился, переехал к Х. 32. Я там хозяин, сижу за обеденным столом в кресле. Завтра у нас прием — гости.

Я порадовалась за Александра Степановича: значит, у него опять есть домашний уют. Но брак этот длился недолго. Зимой я получила от Александра Степановича письмо, в котором он просил навестить его, так как он вновь одинок. Я нашла Грина на Невском, между Литейным и Надеждинской, на третьем дворе. Комната была маленькая и в мороз нетопленная. Но я ничем не могла помочь Александру Степановичу, так как в 1918—1919 годах мы, как и все петроградцы, голодали. Я принесла только две большие тыквы. Спросила его, почему он уехал от Х.?

— От меня стали прятать варенье и запирают буфет. Я не приживальщик; не моя вина, что негде печататься. Я потом всё бы выплатил. Я послал всех куда следует и ушел.

В январе 1919 года Александр Степанович переехал в хорошую комнату окнами в сад, на 11-й линии Васильевского острова, в дом, ранее

принадлежавший богачу Гинцбургу. Гинцбурга называли «Порт-Артурским», потому что свои миллионы он нажил в японскую войну. Перевел деньги за границу и сам туда уехал. Охранять его особняк на 11-й линии осталась родственница с детьми. Когда стало известно, что все дома в Петрограде будут национализированы, эта родственница предложила дом Гинцбурга «Обществу деятелей художественной литературы». В «Обществе» принимал деятельное участие М. Горький. В его состав входило большинство тогдашних крупных писателей: Ф. Сологуб, А. Блок, К. Чуковский, В. Шишков, Д. Цензор и др. Председателем был сначала Ф. Сологуб, потом В. Муйжель. Секретарем — Ю. Слезкин, казначеем — Д. Цензор. Некоторые из членов «Общества» жестоко нуждались в помещении, в дровах и вообще в материальной поддержке. Нарком Луначарский подписал ассигновку на дрова для писателей, поселившихся в «Доме деятелей художественной литературы» и на оборудование там столовой *. [** Сведения о доме Гинцбурга и об «Обществе деятелей художественной литературы» был добр сообщить мне Д. Цензор. — Прим. В. П. Калицкой.*]

В доме на 11-й линии поселились, кроме А. С. Грина: В. Воинов с семьей, Ю. Слезкин, Д. Цензор с женой, В. Муйжель. Большинство жителей этого дома принимало активное участие в советских журналах того времени: В. Муйжель редактировал художественный отдел журнала «Пламя», Д. Цензор работал в газете «Красный Балтийский флот» и организовывал художественные студии на линкорах «Марат», «Гангут» и на подводных лодках. А. С. Грин участвовал в художественном отделе журнала, издававшегося Ленинградской милицией «Общество деятелей художественной литературы» просуществовало недолго, его члены разошлись по вновь образовавшимся организациям: Союз писателей, Союз поэтов, Цех поэтов, Дом искусств.

Александр Степанович прожил в доме «Общества» до лета 1919 года, когда его призвали на военную службу.

Полк, в который был зачислен Грин, стоял на Охте, в Ново-Черкасских казармах. Я приехала туда сделать Александру Степановичу передачу, но в свидании мне отказали.

В сентябре 1919 года я уехала с мужем в командировку. В то же время бригада, в которой находился Грин, отправилась в Витебск. Здесь Александр Степанович некоторое время помещался на фарфоровом заводе, потом бригаду перевели за шестьдесят километров от Витебска, а позднее — в Остров. Здоровье Грина было расшатано, а потому он строевой службы не нес. Находился в караульной команде по охране обоза и амуниции.

Очень скоро после моего отъезда наши отношения с Александром Степановичем прекратились; пропадали письма, и я потеряла его из виду. Только вернувшись в 1920 году в Петроград, я узнала от Грина обо всем, что он пережил за это время.

20 марта 1920 года Александр Степанович вернулся в Петроград. Некоторое время пожил у И. И. Кареля, знакомого по Кегострову, а потом переехал в Дом литераторов на Бассейной улице. Но пробыл здесь недолго. Почувствовал, что расхварывается. Пошел за помощью к М. Горькому. Алексей Максимович дал ему записку в лазарет, находившийся в Смольном. Там его взяли на испытание и поместили в изоляционную палату на три дня. Выяснилось, что у Грина сыпняк. Тогда его перевезли в Боткинские бараки, где Александр Степанович и пролежал почти месяц. М. Горький и тут не оставлял его, присылая передачи, между прочим — кофе, которым Александр Степанович очень дорожил.

Выздоровев, Александр Степанович опять пошел к Горькому. Тот дал ему письмо к командующему Петроградским округом, прося откомандировать Грина в библиотеку Дома искусств. В число членов этого дома Александр Степанович был выбран единогласно. Просьба Горького была уважена, и Грин поселился на Мойке, у Полицейского (ныне Народного) моста, в Доме искусств.

Переехал Александр Степанович туда в мае 1920 года. Здесь я его и увидела, когда мы с Казимиром Петровичем в июне 1920 года вернулись в Петроград. Застала я Александра Степановича здоровым и веселым.

Дом искусств был открыт в декабре 1919 года. Сначала он был задуман как филиал Московского Дворца искусств, но очень скоро вырос в самостоятельное учреждение. Во главе дома стоял М. Горький, средства же давал Народный комиссариат просвещения.

Потребность в создании Дома искусств была большая. Прежние писательские группировки вокруг журналов исчезли вместе с журналами, а собираться где-нибудь, чтобы обсудить свои профессиональные нужды, было необходимо. Кроме того, многие литераторы, музыканты, художники во время голода занялись всевозможными побочными заработками, отрываясь, таким образом, от своей профессии. Чтобы помочь им выбраться из тяжелого материального положения, при Доме искусств было открыто общежитие. В нем Грин и получил хорошую меблированную комнату. Там же можно было получать и обед.

В книгах чувствовался острый недостаток; при Доме искусств был организован «Книжный пункт».

В первое время по открытии Дома искусств писатели и художники собирались на интимные «пятницы»; несколько позднее стали устраивать «понеделники» — для широкой публики. Некоторые из «понеделников» были посвящены лекциям или художественной прозе, другие — поэзии.

В феврале 1920 года возникла музыкальная секция. Она устраивала концерты.

По средам происходили диспуты.

Художники, среди которых были Александр и Альберт Бенуа, М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин и другие, устраивали в помещении Дома искусств выставки картин.

Большой интерес молодежи вызывала литературная студия. На второй семестр, осенью 1920 года, в студию записалось триста пятьдесят человек. Студию возглавлял К. И. Чуковский.

В помещении Дома искусств устраивал свои вечера Союз поэтов и позднее молодое общество — Цех поэтов.

На вечерах поэтов выступали: Вс. Рождественский, М. Шагинян, Ю. Верховский, М. Кузмин, В. Пяст... Два вечера были посвящены А. Блоку. Приезжали из Москвы и выступали в Доме искусств А. Белый и В. Маяковский.

Большое число посетителей привлекали вечера воспоминаний А. Ф. Кони, который рассказывал про Достоевского и Л. Толстого, про Писемского и Тургенева.

В октябре 1920 года состоялся вечер Федора Сологуба.

В ноябре 1920 года К. И. Чуковский прочел со свойственным ему лекторским талантом главу из большой книги о Некрасове, озаглавленную «Поэт и палач» (О Некрасове и Муравьеве).

4 декабря В. Маяковский прочел свою поэму «150 000 000».

8 декабря выступил Александр Степанович Грин со своей феерией — «Алые паруса». Публика приняла эту поэтическую повесть очень тепло. Александр Степанович рассказал мне, что вынашивал повесть пять лет; черновик ее лежал у него в походной сумке, когда он был на военной службе. Прочитав эту повесть у нас дома, Грин сказал с видимым удовольствием:

— Обрати внимание, какое у меня богатство слов, обозначающих красный цвет.

Но не меньшее количество таких же синонимов есть у Грина и в стихотворении, помещенном в № 10 «Нового журнала для всех» за 1910 год, начинающемся словами: "За рекой, в румянном свете...".

За рекой в румянном свете

Разгорается костер.

В красном бархатном колете

Рыцарь едет из-за гор.

Ржет пугливо конь багряный,

Алым заревом облит.

Тихо едет рыцарь рдяный,

Подымая красный щит.

И заря лицом блестящим

*Спорит — алостью луча —
С молчаливым и разящим
Острием его меча.
Но плаща изгибом черным,
Заметая белый день,
Стелет он крылом узорным
Набегающую тень.*

Александр Степанович много рассказывал мне про помещение банка, стоящего пустым по соседству с Домом искусств. Этот дом занимал огромное пространство: один его фасад выходил на улицу Герцена, другой на Невский, третий на Мойку. Как-то Грин повел меня посмотреть это замечательное, по его словам, здание. Банк занимал несколько этажей и состоял из просторных, светлых и высоких комнат, но ничего особенного, красивого или таинственного, что отличало бы его от других банков средней руки, не было. Когда позднее Александр Степанович читал нам «Крысолова», я была поражена, как чудесно превратился этот большой, но банальный дом в настолько зловещее и фантастическое помещение.

Летом 1920 года я попросила Александра Степановича дать мне развод. Он согласился на это без малейшего неудовольствия. Мы вместе пошли в загс. Меня удивило и тронуло то, что, когда, получив развод, мы вышли на улицу, Александр Степанович поблагодарил меня за то, что я не отказалась от его фамилии, осталась Гриневской. А ведь он знал, что развод я попросила затем, чтобы выйти замуж за К. П. Калицкого.

Наши отношения после разрыва в 1913 году стали товарищескими; Александр Степанович подробно рассказывал мне о своих похождениях, однако по тому, каким он тоном о них говорил, я чувствовала, что отношение его к тем женщинам, с которыми он флиртовал, несерьезно.

Но однажды, придя к Александру Степановичу без предупреждения, я нашла дверь в его комнату полуоткрытой. Я увидела на столе два прибора: тарелочки из папье-маше, бумажные салфеточки; стояла

нехитрая закуска и немного сладкого. Лежала записка: «Милая Ниночка, я вышел на десять минут. Подожди меня. Твой Саша».

Я поспешила уйти. Тщательность, с которой было приготовлено угощение, напомнила мне первый год нашей любви. Я поняла, что ожидаемая женщина — новая серьезная любовь Александра Степановича. И не ошиблась. 8 марта 1921 года Александр Степанович женился на Нине Николаевне Мироновой, которая прожила с ним до его смерти, оставаясь верной и преданной женой.

Отношение Грина к музыке и театру. «На американских горах». Происхождение рассказа «Табу»

Иногда я играла Александру Степановичу на рояле.

Из пьес, которые я знала, ему больше всего нравился Второй вальс Годара.

Однажды, прослушав его, Александр Степанович сказал:

— Когда я слушаю этот вальс, мне представляется большой светлый храм. Посреди него танцует девочка.

Герой «Блистающего мира» Друд, обладающий способностью летать без всяких приспособлений, прилетает к своему другу Стеббсу; тот показывает ему музыкальный инструмент, который он смастерил из бутылок, и говорит:

«Я понемногу расширил свой репертуар до восемнадцати-двадцати вещей; мои любимые мелодии: „Ветер в горах“, „Фанданго“, „Санта-Лючия“ и еще что-то, например, вальс „Душистый цветок“».

Друзья начинают свой концерт с «Фанданго», потом переходят на вальс из «Фауста». После вальса Стеббс играет песенку Бен-Бальт, которую поет Трильби у Дю-морье: «Далеко, далеко до Типерери», «Южный крест», Второй вальс Годара, «Старый фрак» Беранже и «Сан-та-Лючия».

При выступлении Друда в цирке он просит сыграть что-нибудь плавное, например «Мексиканский вальс».

Один из героев «Приключений Гинча» идет по лестнице, напевая арию из «Жосселена».

Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу: перечисленные музыкальные произведения почти исчерпывают репертуар Александра Степановича. Он усвоил их, вероятно слыша в ресторанах, на эстрадах или в граммофонной записи.

За те восемь лет, какие мы прожили с Александром Степановичем, он почти не бывал в театре, несмотря на то что интересных пьес и прекрасных актеров было много. С огромным успехом шли пьесы Л. Андреева, Метерлинка, Гауптмана и А. Блока. Молодежь увлекалась театром Комиссаржевской, ею самой и пьесами Ибсена, в которых она играла. Все мы по многу часов дежурили за билетами на спектакли Московского Художественного театра. Особенно сильное впечатление производил «Юлий Цезарь». В Мариинском оперном театре ставился цикл вагнеровских опер — «Кольцо Нибелунгов», на который тоже было очень трудно доставать билеты.

Но ни одно из этих увлечений не коснулось Александра Степановича. В 1908 году мы только раз пошли с ним в Александринский театр, на пьесу Гамсуна «У царских врат». Но уже в первом действии Александр Степанович стал ворчать, что, по-видимому, автор не на стороне героини и что это — противно. В антракте я предложила Александру Степановичу уйти из театра, не досмотрев пьесу, и мы ушли.

Еще раз мы были в театре в 1913 году, на балете «Дон-Кихот». Но тут Грину показалось, что благородный Дон-Кихот осмеян, и он начал громко делать замечания. Я опять предложила уйти, но Александр Степанович пошел в буфет, уйти отказался, а во время действия снова делал резкие замечания, вызывая этим неудовольствие и шиканье публики.

В декабре 1903 года при Театральном клубе на Литейном проспекте открылось кабаре «Кривое зеркало».

Этим новым, остроумным и тонким зрелищем Александр Степанович увлекся. Да и нельзя было не увлечься, так как всё в «Кривом зеркале» было свежо, умно и талантливо. Театром руководили З. Холмская и О. Кугель. Репертуар «Кривого зеркала» требовал от своих зрителей

высокой художественной культуры, знания современного театра и литературы. В первый год существования «Кривого зеркала» спектакли начинались в двенадцать часов ночи. Предполагалось, что артисты, литераторы, художники и театралы будут приезжать туда поужинать и, сидя за столиками, смотреть на интимной, маленькой сцене номера то едкие и остроумные, то лирические, всегда злободневные и прекрасно поставленные. Жанр «Кривого зеркала» пришелся по душе Александру Степановичу. Недаром Э. Золя называл репертуар монмартрских кабачков «романтическим».

Другой новинкой в те же 1908—1910 годы был «Луна-парк» — летний театр и сад с впервые появившимися тогда «аттракционами». Насколько «Кривое зеркало» было изысканно и остроумно, настолько «Луна-парк» — груб и нехудожествен. Александр Степанович пригласил меня пойти в «Луна-парк», когда туда приехали, кажется, сомалийцы или какое-то другое экзотическое племя. Сомалийцы были интересны, на сцене стояли их хижины с примитивной утварью, сидела красивая женщина с ребенком, оба светло-шоколадного цвета, а на эстраде мужчины с копьями исполняли воинственную пляску.

Грину «Луна-парк» дал сюжет для одного из рассказов в «Наследстве Пик-Мика» — «На Американских горах». На этих горах произошел единственный, кажется, за всё время их существования смертельный случай: пожилой человек захотел испытать сильное ощущение, которое возникает при скатывании с гор, но переживание оказалось слишком сильным для его сердца, и он скатился вниз мертвым. Не знаю, было ли об этом несчастном случае в газетах, но молва о нем облетела весь Петербург.

Две проделки Дмитрия Николаевича Садовникова, поэта и этнографа, дали повод к созданию рассказа Грина «Табу».

Д. Н. Садовников был женат на родной сестре моей матери, Варваре Ивановне Лазаревой. Отец мой недолго любил Д. Н. Садовникова, говорил, что Дмитрий Николаевич оригинальничает и, пользуясь тем, что жена влюблена в него, слишком позволяет ей за собой ухаживать. Но тем не менее отец не мог без смеха вспоминать про некоторые проделки

Дмитрия Николаевича. Из них я запомнила и рассказала Александру Степановичу о двух. Первая относилась к молодым годам Дмитрия Николаевича.

В те времена барышни встречались с молодыми людьми почти исключительно на вечерах. С шестнадцати лет барышню начинали «вывозить» на балы. Ее сопровождали родители, а если родителей не было, то братья, тетки и другие родственники. Ехать одной на бал или в театр было для порядочной девушки в те времена невозможно. Одна из двоюродных сестер Д. Н. Садовникова обратилась однажды на святках к нему с просьбой — сопровождать ее на костюмированный бал. Он согласился. Заехал за кузиной, дождался ее в прихожей не раздеваясь; поехали на бал. Когда же лакеи сняли с них верхнее платье, барышня с ужасом увидела, что на Дмитрие Николаевиче нет ничего, кроме перьев и стрел вокруг бедер. Барышня бросилась от него сначала в гостиную, потом в зал. Дмитрий Николаевич с ужимками и прыжками, изображавшими людоеда, гонящегося за добычей, догнал ее. Тогда несчастная кузина спряталась в спальне хозяев. После этого уж никто из родственников Дмитрия Николаевича не обращался к нему с просьбой сопровождать их в гости.

Много позже, уже женатым, Дмитрий Николаевич ехал куда-то по железной дороге. Вышли с женой на перрон станции, на которой, не знаю почему, он хотел остаться, а Варвара Ивановна нет. Направились к буфету. Вдруг Дмитрий Николаевич падает с резким криком и бьется в судорогах. Пена изо рта и обморочное состояние. Кругом засуетились, послали за врачом, перенесли в приемный покой. Поезд ушел. Тогда Дмитрий Николаевич спокойно сел и объявил, что он совершенно здоров и припадок падучей был им разыгран.

Эти две проделки Д. Н. Садовникова и породили рассказ «Табу». Писатель Агриппа, «не умеющий или неспособный угождать людям», терпит кораблекрушение и попадает к людоедам. Его товарища немедленно съедают, герой же спасается тем, что искусно разыгрывает припадок падучей, а потом объявляет, что в это время с ним говорил «дух». Считая его священным, жрец дикарей налагает на героя рассказа табу, то есть делает его неприкосновенным и тем спасает его от дикарей. Агриппа

вторично разыгрывает припадок падучей, на этот раз более длительный, а затем объявляет жрецу волю «духа»: ехать всем дикарям по направлению к потонувшему кораблю. Ночью он продырявливает все пироги, дикари тонут, а героя спасает проходящий вблизи корабль.

Примечания

(Владимир Сандлер)

В. КАЛИЦКАЯ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ.

Вера Павловна Калицкая (до замужества Абрамова; 1882—1951) — первая жена А. С. Грина. Окончила Литейную гимназию в Петербурге с золотой медалью, а затем и физико-математическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов. В 1904—1907 годах преподавала в Смоленских классах для рабочих Технического общества, в Никольском женском училище и в гимназии Песковой. Работала в Геологическом комитете. Уехала с Грином в ссылку. Возвратившись из Архангельска в Петербург, стала постоянным сотрудником, а затем и членом редакции журнала «Что и как читать детям». В 1914 году вновь поступила в лабораторию Геологического комитета, где проработала до 1922 года. В дальнейшем В. П. Калицкая, с небольшими перерывами, постоянно работала во Всесоюзном нефтяном научно-исследовательском геолого-разведочном институте.

В. Калицкая — автор рассказов для детей и статей о детской литературе, а также нескольких книг, в частности книги о своем втором муже, видном геологе К. П. Калицком.

В. Калицкая работала над воспоминаниями о Грине (судя по косвенным данным) в конце сороковых годов. Существует (в частных собраниях) несколько экземпляров воспоминаний, которые, к сожалению, пока не удалось сверить между собой. В настоящем сборнике воспоминания В. П. Калицкой печатаются в сокращении по рукописи, хранящейся у составителя.

[Источник](#)